

Е. А.
САЛИАС

Сочинения



Евгений Салиас де Турнемир

Аракчеевский сынок

«Public Domain»

1888

Салиас де Турнемир Е. А.

Аракчеевский сынок / Е. А. Салиас де Турнемир — «Public Domain», 1888

«Аракчеевский сынок» – роман Е.А.Салиаса (1840–1908 гг.), популярного писателя, которого современники называли «русским Дюма», впервые опубликован в журнале «Исторический вестник» за 1888 г. В центре повествования молодой красавец-офицер, любимец общества, которому все сходит с рук благодаря его влиятельному отцу. Интрига, любовь, веселые пирушки, дуэли делают сюжет занимательным и интересным.

© Салиас де Турнемир Е. А., 1888

© Public Domain, 1888

Содержание

I	5
II	8
III	13
IV	17
V	21
VI	25
VII	30
VIII	35
IX	38
X	40
XI	43
XII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Евгений Андреевич Салиас

Аракчеевский сынок

Исторический роман

I

Шел 1824 год; был август месяц. Далеко за полночь, среди заснувшего Петербурга, лишь одна Большая Морская была еще довольно изрядно освещена десятком тусклых фонарей с закоптелыми стеклами, но была пустынна из конца в конец. Все спало здесь давно, так же как и во всей столице... Лишь изредка громыхала гитара-дрожки ночного извозчика, и в них, сидя верхом, как на коне, тащился домой запоздавший обыватель... Пешеходов почти не было... Холодный порывистый ветер и крупный дождь одни бушевали на дворе. Только в одном месте, на углу узкого и темного переулочка, упиравшегося в огромное недостроенное здание – было несколько светлее и люднее.

Здесь, близ парадного крыльца, освещенного большим фонарем, стояло несколько экипажей; но лишь одни промокшие кони невольно бодрствовали, двигались, встряхивались, фыркали, били копытами о землю. Кучера, все без исключения, кутаясь и ежась от непогоды, дремали или крепко спали по своим козлам, как на дрожках, так и на больших колымагах... Два форейтора на передних лошадях двух карет, запряженных цугом, тоже дремали в седлах, распустив поводья и сбросив стремена.

Сборище, гости и ночное пированье были здесь, в квартире второго этажа, – явлением обычным. Соседи-обыватели привыкли к тому, что почти каждую ночь, чуть не до рассвета, на улице, у подъезда угольного дома, бывалолюдно, а в самой квартире илюдно и чересчур иногда шумно. Все знали, конечно, что это «господа офицеры гуляют у известного питерского блазня».

В эти времена, гвардия отличалась и славилась буйными кутежами, с особенной распущенностью нравов и поступков. Жалобы на самодурство, уличные дерзости и публичные оскорбительные шалости, слышались отовсюду во всех слоях общества. Говор и ропот по поводу буйных выходок гвардейцев часто достигали и до слуха государя Александра Павловича, но лишь изредка виновные наказывались, да и то сравнительно легко, и всякого рода соблазны шли, конечно, своим чередом.

Некоторые из офицеров стали известны дикими, иногда оскорбительными, выходками и были своего рода знаменитостями. Их звали «публичными блазнями», всячески избегали в общественных местах из чувства самосохранения; но с дикостью и безнаказанностью поведения этих «блазней» приходилось мириться поневоле.

И только за последнее время одно новое «колено» этих блазней заставило общество несколько встрепенуться и начать снова громко роптать. Дело было несколько «изряднее» прежних и напугало отцов семейств. Случилось, что одна молодая девушка, красавица, только что вышедшая из института, исчезла во время одного бала и пропадала без вести в продолжение трех суток. Найденная полицией в большой квартире, никем не нанятой и даже не меблированной, девушка оказалась жертвой трех неизвестных ей обольстителей, которые ее обесчестили и бросили запертою в пустой квартире. Единственное, что знала несчастная и могла доказать обвязанным на ее руках военным шарфом, что злодеи были гвардейцы.

Но виноватых не нашлось...

В доме, на Большой Морской, у которого ночью стояло столько экипажей, жил один из самых известных кутил-шалунов и блазней. Это был артиллерийский офицер Шуйский,

всему Петербургу лично знакомый по двум причинам. Во-первых, он чуть не еженедельно совершал какое-нибудь буйство или скандал, т. е. «выкидывал колено» на потеху товарищей и «острастку публики». Во-вторых, это был побочный сын всемогущего временщика, графа Аракчеева. Признанный гласно и открыто, любимый безгранично и избалованный донельзя своим отцом – Шумский мог творить в столице безнаказанно все, что только могло прийти в его беззаботную голову.

Единственным утешением его врагов, а их было, конечно, много – оставалась одна надежда, что Михаил Шумский хватит через край... зарежет или убьет кого-нибудь в трактире, или в театре, на глазах у всех. И вдобавок не кого-либо из простых смертных... Авось тогда в ответ пойдет.

Разумеется, всякие поступки, неблагоприятные или преступные, совершенные неизвестными «шалунами» или «блзнями», относили на счет «Аракчеевского сынка».

Шумский это знал, но когда случалось, что его обвиняли в глаза за чужое дело, – он не оправдывался, и отвечал, смеясь, равнодушно:

– Не знаю... Не помню... Может и я, в пьяном виде.

Когда, грозный для всех, но не для него, временщик-отец спрашивал у баловня-сына: он ли это «наболванил» или «прошумел» в столице, то Шумский отвечал отцу французской поговоркой:

– On prete au riche!..¹

Это был не ответ, не признание и пожалуй не опровержение, но граф Аракчеев бывал удовлетворен и только легко журил любимца на один и тот же лад:

– Полно дурить... Пора бы давно за дело... Не махонький!..

Но если у вертопраха и кутилы было много врагов, то было и много друзей среди молодежи гвардии, а равно и в среде людей пожилых и почтенных. Если некоторые из них были ложными друзьями из личных выгод, чтобы пользоваться его средствами или через него фавором его отца, то были люди искренно его любившие... Всего более, конечно, молодежь-офицеры... Шумский был «хороший товарищ» – термин все извинявший и непонятный статскому... Молодой офицер получал от своего отца достаточно денег, чтобы жить очень широко, и тем не менее, делал долги. Одни эти сборища товарищей по вечерам стоили дорого, а между тем это был самый меньший из его расходов. Всего более уходило на кутежи в трактирах и на карты. Шумский не любил азартные игры, но играл поневоле, так как это было принято, было модой. Молодой человек, не играющий или не пьющий, подвергался всеобщим насмешкам товарищей и почти презрению. Всякий офицер обязан был пить, играть и любовные шашни иметь...

В этот вечер в квартире общего приятеля и «кормильца» Михаила Андреевича было менее шумно и менеелюдно, чем обыкновенно. Некоторые из друзей, заглянув сюда перед полуночью, уехали, а оставшиеся разместились в двух горницах, и, переговариваясь вполголоса, вели себя несколько сдержанно и мало пили.

На это была немаловажная причина. Хозяин был не в духе, озабочен и слегка гневен. А когда Шуйский бывал в таком настроении духа, то был придиричив, оскорблял без всякого повода, а иногда и просто выгонял от себя и переставал знаться и кланяться.

Все товарищи, которые были по своему положению независимы от него, разумеется, избегали его в такие минуты, не желая подчиняться его нелепым вспышкам и причудам и равно не желая из-за пустяков ссориться. Оставались и сносили все покорно те из приятелей, которые были в зависимости, пользовались деньгами или покровительством аракчеевского баловня.

В одной из горниц побольше, вокруг стола, на котором перемешались в беспорядке посуда, бутылки и остатки ужина, сидело человек пять офицеров без сюртуков, с длинными

¹ Приписывают богатым... (фр.).

чубуками в руках. Почти все курили, и дым сплошным облаком навис и стоял над столом и головами собеседников.

Общий говор прекратился давно, и все молчаливо слушали тихое и мирное повествование плотного и толстолицего офицера, с брюшком, известного рассказчика в столице. Это был семеновец, уроженец Киева, полурусский, полухохол, добродушный, умный, подчас очень острый человек, капитан Ханенко.

Он рассказывал о Сибири, где прожил два года...

В соседней горнице было также тихо, хотя и там сидело у зеленого стола около полудюжины игроков. Банкомет, поляк Сбышевский, молча и даже на вид угрюмо сидел неподвижно в большом кресле и только правая рука его едва-едва шевелилась, выбрасывая карты направо и налево... Понтеры кругом стола, кто сидя, кто стоя, лишь изредка выговаривали однозвучно по два, по три слова, почти исключительно термины игры или цифру куша, ставки... или просто бранное слово... На этот раз здесь играли не ради удовольствия и не ради корысти, а в силу привычки и чтобы убить время. Главные вожаки-картежники отсутствовали, а богачи, часто в пух проигрывавшиеся у Шумского в квартире, тоже разъехались по другим вечеринкам.

II

В третьей, угловой и маленькой горнице, спальне, с огромной кроватью красного дерева, где могли улечься просторно три человека, сидел за столом молодой человек лет 25-ти и медленно писал, тихо, как бы бережно, выводя буквы; около него был на столе не тронутый ужин, два блюда, и не раскупоренная бутылка вина.

Он уже давно угрюмо писал письмо, часто останавливался, задумывался и, как бы вдруг придя в себя, почти с удивлением взглядывал на лист бумаги и на гусиное перо, которое вертел в руке и бессознательно грыз зубами.

Это был сам хозяин квартиры, Михаил Шумский. Лицо его, чистое, но несколько смуглое, было бы красиво, если бы не какая-то сухость во взгляде и в тонких вечно сжатых губах. Пронзительно неприязненный взгляд карих глаз и легкая полуулыбка, или скорее складка, в этих стиснутых губах, дерзкая, презрительная, даже ядовитая – производили неприятное впечатление...

При знакомстве, с первого раза, всегда, всякому, казался он крайне злым человеком, чего не было на деле. Он был «добрый малый», делавший иногда зло из распушенности, необдуманно, бессознательно, с легким сердцем и спокойной совестью. Он не привык и не умел себя сдерживать ни в чем и, увлекаясь, был равно способен и на чрезвычайно доброе дело и на безобразно злой поступок, не честный, или даже жестокий...

Теперь он уже давно сидел тут, один...

После глубокого и долгого раздумья, Шумский снова пришел в себя и, увидя писанье свое и перо, нетерпеливо дернул плечами.

– Ах, черт, его побери! – вымолвил он едва слышно. – Эти послания хуже всякой каторги. И кой леший выдумал грамоту. А главное, как писать, когда нечего сказать... Какого черта я ему скажу?!. Написать ему вчерашние Петькины вирши: «Я б вас любил и уважал, когда б в могилу провожал»...

И обождав немного, Шуйский написал две строчки, расписался и так расчеркнулся, что перо скрипнуло, хрястнуло и, прорезав бумагу, забрызгало страницу сотней мелких чернильных крапинок.

– Ну, ладно... переписывать не стану! – воскликнул он и, тотчас же положив письмо в конверт, крикнул громким, звучным голосом:

– Эй! Копчик!

Чрез мгновенье явился в горницу молодой малый, лет 18-ти, красивый и бойкий, и несколько фамильярно подошел к самому столу, где писал Шумский. Это был его любимец, крепостной лакей, не так давно прибывший из деревни, но быстро осмелевший и «развернувшийся» среди столичной жизни.

– Что изволите? – выговорил он, улыбаясь.

– Что они там?...

– Ничего-с.

– Никто еще не уехал?

– Никак нет-с. Поели, попили, а еще сидят, – вымолвил лакей, снова лукаво улыбаясь. – Знать до вас дело какое еще есть... Пережидают.

– Ну, это дудки! Вызови мне тихонько Квашнина. Да ты, Вася, сам-то спать бы шел, – ласковее прибавил барин вдогонку выходявшему уже лакею.

Василий, прозвищем Копчик, обернулся быстро на пороге горницы лицом к барину и, действительно, ястребиным взором окинул Шумского.

– Вы так всегда сказываете, Михаил Андреевич; а ляг я, когда у вас гости... эти все сидят... что будет?.. Вы же поднимете палкой или чубуком по спине и крикнете: «Чего дрыхнешь, скот, когда господа на ногах». Нешто этого не было?!.

– Правда твоя, Васька, бывало... под пьяную руку. Ну, иди... зови Квашнина! – равнодушно отозвался Шумский.

Через минуту в спальню вошел высокий, стройный, белокурый и голубоглазый офицер в мундире Преображенского полка...

Это был первый приятель Шумского и вероятно потому, что был совершенной его противоположностью, его антиподом, и внешностью, и характером, и привычками.

Все было в Квашнине приятно, ласково, как-то мягко... Мягкий взгляд больших и добрых глаз, мягкость в голосе и во всех его движениях. Он даже ходил и двигался тихо и плавно, точно осторожно и мягко ступал ногами, как бы вечно опасаясь поскользнуться и спотыкнуться.

Этот же самый голубоглазый офицер, с ярким румянцем на белых как снег щеках, был «золотой человек» во всяком затруднительном обстоятельстве, во всяком мудреном деле. Он обладал даром, как говорили товарищи, развязывать гордые узлы. Много бед многим его приятелям сошли даром с рук, благодаря вмешательству и посредничеству Пети Квашнина.

– Ты чего меня? – кротко и кратко выговорил он, входя и приближаясь...

– Который час?..

– А это что! – отозвался Квашнин, указывая приятелю на большие часы, которые висели на стене прямо против него. – Это ты за этим звал, чтобы узнать где часы висят?!.. Гляди вон они... третий час... давно по домам пора.

– Нет... присядь... мне нужно... видишь ли, у тебя спросить... – начал Шумский странным голосом, не то серьезно, не то шутливо... Глаза его сияли грустным светом, а полуулыбка на губах скользнула так, как если б он собирался рассмеяться громко и весело.

– Ну, спрашивай...

– Ты сядь... сядь прежде...

– Да нешто дело какое?

– Дело, братец, да еще какое!..

– Ночью... вдруг...

– Да, вдруг... и ночью... Ты не переспрашивай, а слушай. Совет мне твой нужен.

– Совет... А? Знаем... не впервой... Хочешь, чтобы я тебе отсоветовал худую затею, для того, чтобы все-таки, наплевав на мой резон, поступить по-своему... Не впервой... Ну говори, что еще надумал. Спалить все Адмиралтейство, что ли?..

– Нет, ты не отгадчик, Петя... Я хочу у тебя спросить, где мне достать такого питья, от которого спят люди...

– В аптеке... А то и от вина спится тоже...

– Ты не балагурь. Мне нужно это. Как оно зовется?.. Сонное питье... сонный порошок что ли? Ну? Дурман что ли? Мне надо опохмелить одну милую особу... Понятно сказал, кажется...

– Это уж не чухонку ли? – воскликнул офицер.

– Квашнин! – вдруг выговорил Шумский глухо. – Я тебе два раза запрещал...

Но голос молодого человека оборвался от прилива мгновенного гнева. Лицо слегка искажилось и губы дрогнули...

– Вона как?! – удивился Квашнин, и, пристальнее глянув в лицо приятеля, он прибавил своим мягким и успокоительным голосом:

– Прости, Миша... Я ведь только сейчас понял. Я все думал, что это у тебя простая зазноба, каких сотни бывают... А ты видно всем сердцем втюрился... Прости, дальше так называть ее не буду... Ну, сказывай...

– Да... Это она... Ее мне надо так взять...

– Это распробезумнейшая затея!.. На этом ты, как кувшин, и головку сломишь! – тревожно вымолвил Квашнин. – И отец твой тебя не помилует и от государева гнева не упасет. Полно, Михаил Андреевич, ты знаешь, что я в этих делах на все руки. Сами вы меня называете любовных дел мастером. Но это... Но эдакое дело... С баронессой!.. Ведь ее отец друг и приятель другой, тоже баронессы, Крюднерши!.. Они оба к одной секте, сказывают люди, принадлежат; вместе на один манер и Богу молятся, и чертей вызывают... Оскорби барона, он к Крюднерше бросится, а та к государю, а государь за графа возмется, а твой отец за тебя... А ты в Ставрополь с черкесами драться улетишь с фельдъегерем...

Наступило молчание. Квашнин глядел в лицо друга во все глаза, широко раскрытые и удивленные, а Шумский понурился и задумался.

– Что ж я буду делать? – выговорил он, наконец. – Я ее так полюбил, как еще никогда мне любить никого... и во сне не грезилось...

– Любишь, а бегаешь от нее как черт от ладана... Не понимаю!..

– Как бегаю?! – удивился Шумский и, вдруг спохватившись, прибавил: – Да... да, помню... Это в собраньи-то?!..

– Вестимо. Когда я тебе сказал, что барон с дочерью приехали, ты бросил совсем невежливо свою даму среди танца и выскочил из собрания как укушенный, или как прямо бешеный.

Шумский начал весело смеяться...

– Странная любовь, – продолжал уже шутливо Квашнин. – Мы когда любим, льнем к нашему предмету, любезничаем, всюду выслеживаем, чтобы как повидаться... А ты наоборот... А когда барон был с дочерью приглашен государем смотреть парад, кто вдруг сказлся больным и ушел с плаца... Ты думаешь, я это не заметил и не понял?!.

– Как?! – удивился Шумский.

– Так! нешто я вру... Разве этого не было?

– Было. Но никто этого мне так еще не объяснял, ты один заметил.

– Так стало ведь правда! – воскликнул Квашнин, – что ты от баронессы Евы бегаешь, как черт от ладана. Ветхозаветный черт, совсем, братец мой, иначе поступил с первой «имени сего» особой... Он не бегал от нее, а за ней ползал в виде змия, покуда не совратил с пути истинного.

– Вот и я так то хочу теперь, не бегать от нее, а обратиться тоже в змея, тоже...

– Да. И будет тоже... Тех из рая выгнали, а тебя из Петербурга выгонят. Брось, родной мой. Ей Богу, брось! – ласково произнес Квашнин. – Ведь это одно баловничество! Не поверю я, чтобы можно было человеку без ума влюбиться в какую ни на есть красавицу, когда он ее раза три издали видел и ни разу с ней не разговаривал. Когда и представлялся случай, так удирает от предмета своего, как ошпаренный кот из кухни. Все это Михаил Андреевич в романах твоих французских, что ты почитываешь, так расписано... А в жизни нашей, истинной человеческой, так не бывает. Вздыхать издали на возлюбленную мы уже не можем – как наши деды могли...

– Ну вот что, Квашнин. Ты ходок по любовным делам. Мастер? А? Правда...

– Полагаю, что не хуже вас всех, – несколько самодовольно отозвался офицер.

– Ты мастер... Учитель... Нас всегда обучаешь... так ведь? Ну вот что... задам я тебе загадку... Я всякий раз, что встречаю барона Нейдшильда с Евой, где бы то ни было – спасаюсь от них бегом, как очумелый какой... Я признаюсь в этом. И ты это видел сам. Видел еще недавно на балу в собрании. Так ведь? Правда?

– Да. Я же тебе это и заметил.

– Ну, а вместе с тем, братец мой, я всякий почти день выдаю Еву и всякий раз подолгу с ней беседую... Оттого я в нее так и влюблен. Разреши эту загадку.

– Ничего не понимаю! Бегаю... выдаю всякий день?..

– Повторить, что ли?

– Зачем повторять. Слова я понял. Но если ты выдаешься с ней всякий день, отчего же ты всегда избегаешь их. Даже на Невский не идешь, когда тебя зовут гулять днем, во время катанья, боясь встречи... Ведь и это я заметил... Ничего не понимаю. Больно уже хитро. Что же, стало быть, ты тайком от ее отца выдаешься с ней?..

– Нет и отца, барона, выдаю всякий день, и ее.

– Ничего не понимаю... Понимаю только, что вы можете быть влюблены друг в друга, если видите часто.

– Я в нее... Да... без памяти я люблю ее! – выговорил Шумский изменившимся голосом. – Но она меня... Она?!

– Ну... еще пуще...

– Ни капли... ни на волос не любит...

– Что-о? – протянул Квашнин.

Шумский не ответил ни слова, слегка отвернулся от приятеля и, схватив со стола брошенное перо, начал его грызть. Сильное волнение скользнуло по лицу его. Глаза сверкнули и померкли тотчас...

– В этом-то все и дело! – вымолвил, наконец, Шумский глухо. – Ну и давай мне...

Он запнулся и выговорил, как бы со злобой:

– Давай... дурману...

– Ну, нет, братец мой... В таком безумном и погибельном деле я тебе помогать не стану! – решительно произнес Квашнин, вставая. – Я тебя слишком люблю. Да я и не знаю, по правде сказать, где достать, у какой такой колдуньи, такое снадобье, чтобы опохмелить девицу... А потом еще скажу... Прости за откровенное слово... Я, в жизни случалось, одолевал свой предмет нахрапом, врасплох, чуть не силком. Но опаивать и в мертвом состоянии ее... Нет, прости, Михаил Андреевич. Это совсем мерзостно... Да и ты только так говоришь, а и сам на такое не пойдешь!

– У меня нет иного способа... Я ее люблю до страсти, до потери разума! – воскликнул Шумский. – А она на меня и смотреть не хочет... Она со мной охотно беседует и ласкова, любезна. Но чуть я единым словом промолвлюсь об моей к ней любви – она так и застынет, так ее и поведет всю или скорчит, будто ледяной водой окатили с головы... Что ж мне делать? Ну, рассуди...

Наступило молчание. Квашнин пожал плечами, вздохнул и двинулся...

– Куда же ты?

– Домой... три часа... Да и всех пора разогнать. Они рады у тебя до следующего дня сидеть... Будешь завтра на позорище?.. Ну, на этом представлены новых немецких паяцев, что балаган поставили на Дворцовой площади?

– Нет, не буду...

– Отчего? Весь город собирается, билеты все уже с неделю разобраны! Да и у тебя билет взят...

– Не могу. И рад бы, да нельзя. Она с отцом там будет. Вчера сказывала, – отозвался Шумский задумчиво.

Квашнин развел широко руками и театрально наклонился перед товарищем...

– Ничего не понимаю... Видаешь обоих и отца и дочь, беседуешь... А когда где можно повстречать барона или красавицу, – бежишь, как от кредиторов...

– А дело, Петя, простое. Проще нет. После узнаешь. Ну, прости... И то пора спать. Скажи им там, что я уже в постели... Да... стой. Вот еще просьба... Возьми письмо, да завтра занеси в почтамт, тебе ведь мимо...

Квашнин взял конверт с письмом со стола и прочел адрес с именем Аракчеева.

– Тятеньке!.. Родителю? Небось денег просишь?

– А то что же?.. О чем мне, кроме денег, писать этому дураку...

Квашнин тряхнул укоризненно головой, пожал руку Шумскому и плавно вышел из спальни. В квартире было уже пусто, тихо и темно. Гости, не простясь с хозяином, уже разъехались.

– Суший трактир! – подумал Квашнин.

III

На утро, в квартире Шумского было мертво тихо до полудня, так как хозяин, поздно, иногда с рассветом, ложившийся спать, вставал не ранее первого и второго часа дня. Обыкновенно, проснувшись, Шумский оставался по целому часу в постели, пил чай, принимал так, лежа, завернувшего по дороге приятеля и болтал с ним или читал книгу. Понежившись, он вставал и одевался. Копчик объявлял заезжим гостям двояко. Или «барин почивают» или «барин нежутся».

На этот раз в небольшой горнице около передней, где стояли шкафы с платьем, мундирами и всякой разнообразной аммуницией богатого офицера, было нечто особенное.

Обыкновенно горница эта бывала заперта или же в ней возился, прибираясь, один Копчик. Теперь в ней сидела женщина лет пятидесяти, одетая как простая дворовая женщина, в ситцевом пестром платье и с повязкой на голове. Женщина только что приехала в это утро в Петербург. Около нее на полу лежал простой холщевой мешок с пожитками, а на стуле ваточная шубка. На столе пред ней стоял самовар и чайная посуда. Женщина с видимым удовольствием, почти не отрываясь ни на мгновение, пила чай – чашку за чашкой. Уже около половины самовара перешло в чайник и было ею уничтожено в виде светленькой, желтенькой водицы, конечно, с блюдечка и в прикуску.

Изредка в комнату заходил Копчик и, перемолвившись, снова уходил хлопотать по дому. Хотя у Шумского в квартире было около полдюжины всех людей и два лакея в горницах, но всем заведовал Копчик, – один лакей был вечно в городе на посылках, справляя разные поручения барина, а другой неизменно сидел в качестве швейцара в передней и не имел права отлучаться из нее. Приготовив все ко времени пробуждения барина, Копчик явился снова и спокойно сел около вновь приезжей.

– Ну, все справил... Теперь можно и хлебнуть с вами чайку, – сказал он, присаживаясь к столу. – Так как же, Авдотья Лукьяновна... Так-таки вам ничего и не ведомо... Аль скрытничаете?

– Чего мне, голубчик, от тебя скрытничать! Вот тебе Христос Бог – ничего не знаю, – отвечала женщина.

– И Иван Андреич ничего вам не сказывал дорогой. Ни, тоись, ни словечка? – лукаво переспросил лакей.

– Говорю тебе, приехал в Грузино, побывал у Настасьи Федоровны. Меня вызвали, велели собраться в дорогу... А наутро мы в тарантасе с Иван Андреичем и выехали.

– Чудно. Стало и она тоже, Настасья-то Федоровна, не знает, зачем вас барин востребовал в Питер.

– Полагательно и она не знает.

– А отпустила тотчас?

– Она по его слову, своего Мишеньки, дворец Грузиновский в ящик уложит и пошлет. Только прикажи он.

Копчик не понял и рот разинул.

– Так она сказывает, Василий. Дворец графский готова-де гостинцем в ящике Мишеньке переслать.

Копчик хотел снова что-то спросить, но вдруг бросился со всех ног из комнаты... Женщина даже вздрогнула от неожиданности.

Через мгновение Копчик вернулся, но оставил дверь раскрытой.

– Почудилось мне, что барин позвал... Нет, все еще спит.

– А строг он с тобой?... Взыскивает? – спросила приезжая.

– Д-да! – протянул молодой малый.

– А ведь какой же добрый он, сердечный... Не чета нашим господам... Этот добреющий... Андел!

– Д-да...

– Что так сказываешь. Будто не по твоему...

– Да как сказать, Авдотья Лукьяновна... он вестимо добрый... Но тоже и мудрен. Уж и так-то это мудрен, что окромя меня никто ему не угодит и всякого он ухлопает... Добрый, а вот Макара-то Сергеева в Сибирь сослал, а Егора рыжего... Сами знаете...

– Это по нечаянности... Иль не в своем виде был, подгулявши... Такой уж случай неприятный.

– Бутылкой по голове ахнул, в висок... Это же какая уж нечаянность, – вымолвил тихо Копчик.

– Говорю... Подгулявши был...

– От того не легче. И теперь он часто бывает не в своем виде. Меня иной раз, Авдотья Лукьяновна, мысли берут... проситься у него домой, в Грузино... У вас там не так страшно...

Авдотья замахала молча руками...

– Нет... Право... Не так там опасно. Здесь – ужаси! Там только графу не надо на глаза лезть, да дело свое исправно делать. Настасья это Федоровна тоже нашего брата молодца мало обижает. Она больше девок и баб мучительствует. А здесь, у него вот... – показал Копчик на растворенную дверь... – беда! Здесь, Авдотья Лукьяновна, все одно – что на войне!

– Э, полно ты врать! – с заметным раздражением отозвалась женщина. – Вы холопы всегда господами недовольны. На вас Господь не угодит.

– На этого дьявола во истину сам Господь не угодит! – вдруг как бы сорвалось с языка у молодого малого.

Женщина окрысилась сразу...

– Слышь-ко ты... глупый, – произнесла она громче. – Ты мне таких, об Михаиле Андрее... речей, не смей... И слушать-то я тебя не хочу. Дурак ты. Вот что! Нешто забыл, что я его кормилица, что я его вспоила и вскормила, выходила и на ножки поставила...

– А отблагодарил он вас за это много?..

– Да я не просила. Мне ничего не нужно.

– Сам бы мог... Да я что ж... Я ведь так, к слову. Все господа таковы. Он меня любит, привык, балует деньгами и платьем, и гулянками... Ну, а случись... не ровен час. Чем попало убить, как Егора, может. Вот самовар, эдакий, малость поменьше, уж в меня раз летал. Так с кипятком и пролетел на четверть от башки. Не увернись я – был бы ошпаренный в лучшем виде... А ведь это не розги! Не проживет в неделю. Эдакое на всю жизнь. Сказывали мне – без глаз мог меня оставить, кабы кипятком в рыло хлестнуло...

– Все-то враки... Не видали вы настоящих-то господ, грозных! – недовольным голосом отозвалась Авдотья. – Важность, самовар...

Копчик хотел ответить, но до горницы явственно донесся голос барина, звавшего из спальни. Лакей бросился со всех ног.

Авдотья тоже встала, оправилась, потом поправила платок на голове и, став у окна, задумалась, подперев рукой подбородок.

У женщины этой было правильное и выразительное лицо, и видно было, что когда-то она была очень недурна собой. В лице ее была тоже какая-то суровость и сухость, взгляд, когда она задумывалась, тоже становился пронизательно черствый, точь-в-точь такой, как у ее любимца-дитятки, у которого она была кормилицей и няней, и которого теперь обожала не менее своей барыни Настасьи Федоровны.

За последние годы ее дорогой и «ненаглядный барченок» Миша жил в Петербурге, она меньше и реже видела его. Когда он приезжал на побывку к отцу-графу в его имение, близ Новгорода, Грузино, то Авдотье с трудом удавалось раз в день повидать Шумского, и то, все-

таки, издали. Пускаться в беседования с бывшей кормилицей Шумский не любил. Простая дворовая женщина, хотя и умная, хотя и обожавшая его, часто прискучивала ему когда-то своими вечными нежностями. И Шумский теперь не любил даже встречать глазами любящий взгляд этой женщины; видеть и чувствовать его на себе – было ему почему-то тяжело. Женщина очень смысленная и даже проницательная видела и понимала, что барин тяготится ее «глупой любовью» и поневоле старалась быть сдержаннее, не наскучивать ему ласковыми словами и прозвищами, как бывало прежде, когда ему было лет 18, и он еще жил в Грузине.

Но с каждым годом холодность в отношениях бывшей кормилицы с бывшим питомцем все увеличивалась. Шумский уже, наконец, не делал почти никакого различия между прежней мамкой и другими дворовыми своего отца. Когда-то он звал ее «Дотюшка», переделав детским языком имя Авдотюшка, даваемое ей его матерью. Теперь же он просто называл ее Авдотьей.

Часто женщина горевала, изредка и плакала, видя, что питомец совсем разлюбил ее, но обвиняла не его, а себя самою. Стало быть, она сама, глупая баба, не сумела сохранить любовь ненаглядного Миши. Иногда она утешалась мыслию, что все молодые люди «в господском состоянии» гнушаются своих мамок, когда подрастут и «выйдут на волю» и столичное житье-бытье.

– Что ему во мне дуре-бабе. Ни сказать я ничего не умею, ни понять и разуместь его барских мыслей не могу. Он офицер, а я крестьянка.

Так утешала себя женщина, но чуяла сердцем, что лжет сама себе, желая оправдать неблагодарного.

За последний приезд молодого человека в Грузино среди лета, Авдотья несколько раз виделась со своим питомцем, но он даже ни разу не поговорил с ней ни об чем, даже не спросил, что бывало недавно, как ей живется-может. Он говорил при встрече в саду или на дворе: – «А, здравствуй!» – и проходил мимо, не заглянув ей даже в лицо.

Однажды, при второй встрече, после своего приезда, он даже кольнул нечаянно в самое сердце свою бывшую мамку. Сказав: «Здравствуй», – он прибавил неуверенным голосом:

– Ты ведь Авдотья, кажется. Та, что к собачонкам Настасьи Федоровны приставлена?..

Женщина застыла на месте, ничего не ответила, в ней дух захватило от этих слов. А он прошел мимо...

«Я – та, что тебя грудью своей вскормила и выходила!» – смутно сказалось в ней и просилось на язык.

Но она не смогла и не сумела бы это сказать. Она прослезилась, утерла рукавом лицо и пошла в дом, где действительно были у нее на попечении две собачонки барыни.

Последствием этой встречи было то, что она возненавидела этих двух собачонок и уже более не могла их ласкать.

И вдруг, два дня назад, случилось в Грузине нечто очень простое, но для Авдотьи это было неожиданным и загадочным событием, смутившим ее совершенно и даже испугавшим.

В Грузино приехал любимец и наперсник ее дорогого Миши, принявший при нем роль полуадъютанта, полурассыльного. Это был Иван Андреевич Шваньский, молодой еще, но старообразный, худенький и маленький человек. Любимец Шумского, он был нелюбим всеми, начиная от самого графа Аракчеева и кончая последним дворовым, хотя бы тем же Копчиком, который даже ненавидел этого «барина Иуду», как он его звал.

Через час после приезда Шваньского в Грузино, Авдотья была вызвана, и ей объявили, что молодой барин Михаил Андреевич желает, чтобы она явилась к нему в Питер на жительство, недельки на две.

По объяснению Шваньского это была простая прихоть офицера.

– Так ему вздумалось почему-то, – объяснил он.

И прихоть была тотчас же исполнена. Авдотья собралась наскоро и села в тарантас к Шваньскому. Но дорогой умная женщина выведала все-таки у своего спутника, что есть что-то новое, есть «какое-то дельце», которое придется ей справить Михаилу Андреевичу в столице.

– И на эту затею баба нужна, скромная, не болтушка, – объяснил Шваньский. – Ну вот за тебя и взялись...

Разумеется, всю дорогу женщина была сама не своя от мысли, что может быть, услужив в столице своему питомцу, она вернет его любовь к себе. Может быть, думалось ей, он будет так доволен, что совсем оставит ее жить у себя, и она будет заведовать его домом и хозяйством, станет опять «Дотюшкой» для него.

Вместе с тем, Авдотья рада была путешествию в столицу, где жила месяца с два уже ее любимица-девушка, красавица, которую она считала почти дочерью, так как когда-то сама случайно спасла ее от смерти. Гуляя однажды со своим питомцем на руках по саду, около пруда, Авдотья услышала крики... Какой-то ребенок барахтался в воде... В одно мгновение няня положила на траву своего Мишу, вбежала по грудь в воду и вытащила девчонку лет трех на берег.

Спасенный ребенок оказался сиротой из соседней деревни, принадлежавшей графу. Девочку взяли во двор, и Прасковья понемногу стала любимицей всех, а в особенности Авдотьи, которой была, конечно, обязана жизнью. Эта Прасковья, теперь уже взрослая девушка 19-ти лет, была отпущена в Петербург по оброку и жила где-то в горничных. Авдотья радовалась, что свидится с любимицей.

IV

Первые слова, с которыми Копчик вошел в спальню, были для барина, очевидно, очень приятным известием.

– Иван Андреич приехал, – сказал лакей совершенно равнодушным голосом, как бы не придавая этому никакого значения. Тут был умысел со стороны хитрого холопа. В секретных или загадочных делах барина следовало иметь вид, что ничего не чувствуешь...

– А! – воскликнул Шуйский и сразу сел на постели. – И Авдотья с ним?

– Точно так-с... Должно барыня ее прислала.

– Позови его.

– Их нет. Они как завезли Авдотью Лукьяновну, так сейчас же опять выехали на извозчике со двора. Сказывали, что в аптеку...

– В аптеку! Дубина он. Нешто в аптеках эдакое можно...

– Ну, позови Авдотью, – вдруг будто прервал он свои собственные мысли вслух.

Шумский снова опустился в подушки, и на оживленном лице его скользнула странная улыбка, казавшаяся всегда злой и ядовитой, хотя бы он улыбался и от приятного ощущения.

Дверь отворилась, на пороге показалась, видимо робея, Авдотья и низко поклонилась в пояс...

– Здравствуй!.. Дивовалась, ехала, что я тебя вдруг вытребовал, – ласково и весело выговаривал Шумский.

Женщина, сразу ободренная тоном голоса своего питомца, двинулась ближе с очевидной целью поздороваться. Шумский протянул руку, и она почтительно, как бы бережно, поцеловала ее и снова отступила на шаг от кровати. Только взгляд ее умных проницательных глаз блеснул ярче и выдавал внутреннее волнение, радость, почти счастье.

– Ну, что у нас...

– Слава Богу... Маменька приказала кланяться.

– И прислала варенья, – весело продолжал Шуйский, как бы подделываясь под голос мамки.

– Нет-с... Ничего не прислали. Приказали ручки расцеловать, просят тоже писем почаше от вас. И граф сказывали так-то и мне, и Ивану Андреевичу: скажи, писал бы чаще, а то по месяцу матери не пишет.

– Ну, это дудки, об чем мне ей писать. Да сегодня, впрочем, пойдет к ним письмо почтой. Когда батюшка в Питер будет. Пора уж... Вторую неделю отдыхает от дел.

– На будущей неделе указано подставу везде расставить. При мне сорок коней ушли на дальние перекладки.

– Опять на своих? Что ж почтовые-то лошади не понравились опять.

– Граф не большим трактом поедут в столицу, а проселком.

– Почему? – удивился Шумский.

– Не могу знать, сказывали, дорогу самолично глядеть будут, чтобы другой тракт из Новгорода на Питер проложить... А нужен, вишь, этот самый тракт потому, что...

– Ну, черт с ним! – воскликнул Шумский, махнув рукой, и тотчас прибавил, как бы объяснение: – Черт их возьми, все эти тракты, и старый и новый... Нам с тобой до этих делов государственных дела нету. У нас свои есть дела, поважнее да полюбопытнее... Садись-ко...

Мамка заметно оторопела от этого слова и, переминаясь с ноги на ногу, даже слегка смутилась... Шумский сделал вид, что не замечает ничего. А причина была простая. Уже года с четыре, как этой бывшей кормилице не приходилось сидеть в присутствии своего любимца, а ровно не случалось, сидя, беседовать с ним, да еще слышать ласковую речь.

– Садись... Бери вон стул сюда. Поближе ко мне! – странным голосом произнес молодой человек, как бы стараясь придать оттенок простоты и обыденности тому, что смутило мамку его... Он хорошо вспомнил тоже, что этого давно не бывало; хорошо понимал, что эта обожающая его простая баба поневоле должна быть поражена неожиданной милостью.

Действительно, Авдотья, взяв стул и усевшись на нем близ постели, в ногах, не могла скрыть той душевной тревоги, которую произвела в ней ласковость ее «соколика».

Глаза женщины сияли, все лицо расплылось в улыбку и слегка зарумянилось... Бессознательно, от смущения, она все утирала рот рукавом, как после чая...

– Ну, вот... видишь ли, – начал Шумский, как бы желая завести длинную речь, серьезную и объяснительную, но тотчас же запнулся и замолчал.

Мамка тоже молчала.

– Дай-ка мне трубку, – выговорил он, показывая в угол горницы.

Авдотья быстро вскочила и бросилась исполнять приказание. Лет пять тому назад ей случилось в последний раз подавать трубку своему Мише. Но тогда он был еще не офицер, а недоросль. Она тогда пожурела его за эту басурманскую, вновь им приобретенную привычку.

Взяв с подставки, где стояли в ряд с полдюжины трубок, она передала лежащему длинный чубук с красивым янтарным мундштуком, осыпанным бирюзой. Затем она живо нашла клочок бумаги на полу, зажгла его спичкой и поднесла к красивой трубочке в виде воронки, в которой был уже набит свежий табак.

– А не вредительно это твоему... вашему здоровью, – поправила Авдотья, не утерпев сделать вопрос, который когда-то всегда делала питомцу.

– Куренье-то?! – рассмеялся Шумский не вопросу, а воспоминанью... Он тоже вспомнил невольно, как курил когда-то трубку тайком от отца и матери, и как эта же самая женщина журила его или ахала и тревожилась, но тем не менее, не выдавала родным эту тайну.

– Да времена давнишние! – вымолвил офицер, вздохнув. – Тогда лучше было... Ведь лучше тогда было, мамушка?... Или как бишь... Дотюшка!

Авдотья снова покраснела, но и прослезилась от этого прозвища, которое сладко кольнуло ее в самое сердце...

– Ведь так я тебя звал?... Говорили Авдотьюшка. А я переименовал да окрестил Дотюшкой. Да, тогда лучше было. Я думал весь-то свет – одни ангелы да херувимы, и всякий-то человек затем на свете живет, чтобы мне угождать, как ты тогда угождала... Что ни вздумай я, вынь да положь, как по шучьему веленью. Да... А теперь вот... Круто мне, Дотюшка моя глупая, приходит. Ложись да и помирай. Застрелиться хочу! – улыбаясь, добавил Шуйский и выпустил из рта огромный столб дыма.

– Ох, чтой-то вы... Христос храни и помилуй! – не притворно перепугалась мамка.

– Право, хоть застрелиться... если вот... – Шумский замаялся и продолжал: – Ты вот можешь меня из беды выручить, если пожелаешь.

– Я? – изумилась Авдотья. – Из беды выручить... укажи соколик. Я за вас... Я за моего ненаглядного... Да что ж эдакое сказывать. Сами знаете, я чаю... На десять смертей за вас пойду. Душу за вас положу, не токмо тело грешное.

– Так ты меня по-старому любишь...

– Ох, родной мой... Как такое спрашиваешь. Грех вам такое спрашивать у мамки своей...

– Да ведь... время... Не вместе, как прежде. Может, и разлюбила. Я здесь, ты в Грузии. Я офицер, не мальчишка. Давно и беседовать с тобой не случалось...

– Сам не изволил, – тихо произнесла мамка, и в голосе ее отчетливо сказались, как бы само собой, печаль и укоризна.

– Ну-да, да... Не приходилось... Время... года мои... свои заботы... А вот теперь... вот и ты вдруг понадобилась, без тебя я дела ни руками, ни обухами не повершу. А ты можешь...

– Приказывайте...

– Ну вот... Слушай... Я тебя за этим и выписал из Грузина. Кроме тебя, я довериться никому не могу. Дело простое, но и погибельное, если болтать на всех углах. Ты не болтушка, да и меня любишь и подводить не станешь. Ну, скажи-ко... Помнишь Прасковью...

– Пашуту нашу...

– Ну да Пашуту...

– Как же мне не помнить, Господь с тобой! – воскликнула мамка и, вспомнив, что обмолвилась, заговорив по старому на «ты» – не поправилась.

– Ты ведь ее из воды вытащила. У тебя она и росла.

– Пашута мне все одно, что дочь родная. Немало я горевала, что ее по билету в Питер пустил граф, здесь погибельное место, а она из себя красавица. Долго ль до беды. А ей бы замуж за хорошего парня, из наших грузинских.

– Ну, Дотюшка, по билету на оброк твоя Пашута по моей воле пошла. Я просил об этом матушку... Мне Пашута понадобилась... Поняла или нет? Тогда она мне нужна была, а теперь вот ты... Она мне в Грузине приглянулась, я ее сюда и взял...

Авдотья молча, изумляясь, глядела в лицо офицера и слегка разинула рот...

– Что ж, ваша барская воля! – сумрачно выговорила, наконец, женщина после паузы, но вздохнула и потупилась...

– Да ты, глупая баба, никак на свой лад все сообразила! – громко расхохотался Шумский. – Ты никак думаешь, что я твою Пашуту в забавницы свои произвел. Вот уж истинно пальцем в небо попала. Этого добра, мамка, в Питере хоть пруд пруди, девок. И показистее твоей Пашуты. Вот распотешила-то! – снова рассмеялся офицер, лежа в подушках, звонким и даже ребячески веселым смехом.

– Что ж... И слава Богу, если я сбрендил! – отозвалась Авдотья и лицо ее снова прояснилось.

– Я Пашуту на место поставил к такой барышне, какой во всей России второй нет. Ангел доброты. Святая как есть... Мухи не обидит. Пашута, каналья неблагодарная, у нее, как у Христа за пазухой живет, поспокойнее да посчастливее, чем у маменьки в Грузине, где девок порят днем и ночью, даже в заутреню Светлого Воскресенья.

– Ты же ей, родной, и место предоставил, – удивилась женщина. – Ну спасибо, тебя Господь за это наградит. А я-то дура тосковала, что да где моя Пашута... Пропавшая, мол, она в столице.

– И знаешь ты, что вышло, – другим голосом заговорил Шумский. – Она с жиру взбесилась! И за мое благодеяние мне теперь... Подлая она тварь!..

– Грубит... Не благодарствует...

Шумский молчал и затем произнес снова с сердцем и как бы себе самому:

– Холопка крепостная разные дворянские чувства да благородные мысли, вишь, набрала в себя. Совсем не к лицу... Не по рылу!..

– Не пойму я ничего... Чем же она тебя прогневила? Зазналась?... Грубит? Не слушается?..

– Да. Именно зазналась. Все это я тебе поясню. Все будешь знать, чтобы за нее взяться могла.

– Отправь ее обратно в Грузино, коли она зазналась. Там живо очухается...

– Нельзя! Нельзя! То-то мое и горе, что нельзя... Я маху дал! Надо было не ее, а другую поставить на это место, попроще, да поговорчивее... А взять ее обратно теперь, то ее барышня с ума сойдет. Ей-Богу. Она обожает Пашуту! С ума сойдет!

– Тебе-то что же. Наплевать тебе, соколик.

– На кого?

– Да на эту барышню...

Шуйский махнул рукой и даже отвернулся лицом к стене.

Наступило молчание...

«Все ей объяснить, – думалось Шумскому, – ведь это – *une mer a boire*²... Не поймет, а поняв все, ничего не уразумеет! как сказал по ошибке, остроумно и верно мой барон Нейдшильд. Она поймет в чем дело, но дело это будет ей казаться простой моей забавой, стало быть, ничего не сообразит»...

– Вот что, Авдотья, – заговорил он снова, – теперь мне вставать пора и со двора надо. Сегодня ввечеру или завтра утром я тебе разьясню, в чем ты мне должна услужить, и выручить меня. Оно не очень спешно, время терпит. Ты расположись в той горнице, где все мое имущество, прикажи кровать поставить и все эдакое...

– Зачем? Я и на полу посплю ночь-то.

– Да ведь ты у меня, пожалуй, недели на две застрянешь...

– Ну, и слава Богу, коли дозволишь... Я и рада пожить у вас. Могу услужить не хуже Васьки... Он поваренок, какой он камердин... А я все-таки всю жизнь была...

– Ну, ладно... ладно... на полу, так на полу... А в доме ни во что не путайся... Васька Копчик все это хорошо один успевает. Ну, так ввечеру я тебя позову... Ну, ступай себе...

Авдотья собиралась уже переступить порог, когда вспомнила и спросила:

– А где же, стало быть, родной мой, Пашута живет. Мне бы ее сегодня и повидать, да пожурить...

– Ни-ни... Повидаешь, когда я тебя сам к ней пошлю. А вернее, что я тебя и не пущу туда, а Пашуту к себе сюда вызову.

– Господа ее, что ли, такие... острастные. Не любят пущать во двор свой чужих. Важные господа? Вельможные...

– Да... Барон он, и дочь его баронесса, стало быть, – улыбнулся Шумский. – По фамилии Нейдшильд...

– Не русские...

– Финляндцы...

– Так... Это вот что чухонцами звать...

– Да, пожалуй... Только это глупое ведь прозвище.

– Нехристи ведь... Как же Пашута-то у них?..

– Ну, ладно... ступай!..

Авдотья вышла из спальни и задумчивая прошла в комнату, где сидела по приезду.

Вслед за ней явился тотчас Копчик и, хитро подмигивая, вымолвил тихонько и спеша:

– Авдотья Лукьяновна, я вам ужотко все поясню. Я у дверей был, слышал о чем вы разговор имели с барином. Знаю теперь, зачем вы и приехали. Я вам, барин уедет, все поясню. А пожелаете, я вам в один миг с Пашутой повидаться устрою.

Авдотья с удивленьем глянула на лакея. Он быстро вышел.

² выпить море (фр.).

V

Через час после разговора с мамкой, молодой офицер в простом черном пальто и городской шляпе, т. е. в штатском платье, был уже на другом конце столицы, близ Малого проспекта Васильевского острова. Он подъехал к маленькому домику с красивым фасадом и, позвонив, вошел в переднюю, как свой человек, не перемолвившись ни единым словом с лакеем, который его впустил.

– Дождит... – мыкнул лакей, ухмыляясь и несколько фамильярно. – Льет да льет...

– Да, скверно... Почитай совсем осень пришла, – отозвался Шумский.

– И что вам эти, сударь, извозчики стоят, – заговорил лакей нравоучительно. – Каждый день, почитай, отдавай трехгривенный... Вы бы уж пешком себя приневоливали. А то и выгоды мало. Десять рублей, гляди, в месяц ведь проездите...

Шумский промолчал и двинулся в соседнюю комнату. Это была столовая, небольшая, но поражавшая сразу своей обстановкой.

Стол обеденный, большой шкаф и все стулья, стоявшие в ряд по стенам, как шеренга солдат в строю – все было одного чистого готического стиля, резное из черного дуба. Этой столовой, по уверенью ее владельца, было около двухсот лет, причем она вдобавок не была куплена недавно, а уже принадлежала с тех пор все тому же роду, переходя от деда и отца к сыну и внуку... Задок или спинка каждого кресла оканчивалась шпиком наподобие колокольни любого средневекового собора. На всех спинках был резной причудливый герб под баронской короной. Массивный шкаф в два яруса был еще красивее кресел, так как верхний ярус его опирался на головы четырех рыцарей в полном вооружении, латах, шлемах, с пиками и мечами. Тонкая, замечательная работа всего этого поражала искусством, изяществом и законченностью...

Шумский, по-видимому, давно изучивший в подробностях эту столовую, не глянув ни на что, опустился на один из стульев близ дверей и тотчас задумался...

В эту минуту у него был вид просителя, явившегося к важному сановнику.

Никто не пошел докладывать об нем, лакей, впустивший его, ушел в противоположную сторону. Другой лакей, прошедший чрез минуту через столовую, тоже глянул на него равнодушно, как на обычное явление в доме.

Прошло около полчаса в полной тишине.

Наконец, раздался в доме звонок колокольчика за дверью той горницы, которая была прямо пред молодым человеком. Явился тотчас лакей, прошел в эту горницу, вернулся и позвал сидящего.

– Пожалуйте...

Шуйский поднялся, оставил свою шляпу на кресле, и вошел в горницу. Это был кабинет.

Все стены кругом были закрыты простыми высокими шкафами с книгами, на середине стоял, боком к окну, большой письменный стол, тоже сплошь покрытый книгами и тетрадами.

За столом на кресле сидел очень благообразный, седой, но моложавый лицом человек. Румянец на свежих и белых щеках, с легкими морщинками лишь около глаз, странно и красиво оттенял почти снежнобелые выющиеся кудрями волосы. Можно было подумать, что это молодой человек, напудривший себе голову и слегка подрумянивший щеки. Бархатный лиловатый кафтан с позументами на воротнике окончательно придавал маскарадный вид этому бодрому и красивому старику.

Он поднял большие светлые глаза, кроткие и простоватые, немного навывкате и, глянув, не кланяясь, на вошедшего, произнес и сухо, и кротко, и вежливо, но важно:

– Здравствуйте, господин Андреев.

Шумский, молча, почтительно поклонился и стал перед столом.

– Вы сегодня снова немного опоздали, – тем же несколько сухим тоном, но все-таки кротко произнес старик.

– Я уже давно приехал-с... Я сидел в столовой в ожидании вашего...

– Я видел, когда вы подъехали к дому и снова все-таки позволю себе утверждать, что вы немного опоздали... Но на нынешний раз беды нет... ибо и дела никакого нет. Вот это вы возьмете с собой и дома увидите... Все, что по-французски, надо переписать... Все, что по-финляндски, вы не тронете, конечно, т. е. не станете переводить или переписывать. Дочь это сделает после... Вот...

Старик взял синюю тетрадь и легко перебросил ее на столе в сторону Шумского. Молодой человек взял тетрадь и, развернув ее, стал просматривать.

– Когда прикажете?... Поскорее?..

– Нет, это не к спеху... Но все-таки дня через четыре, конечно...

– Через четыре... – повторил тихо Шумский и прибавил мысленно: – Старый шут!.. В четыре дня целую тетрадищу во сто листов. Да Шваньский мой издохнет от эдакого урока.

– Вы боитесь, господин Андреев, что не успеете. Ну, пять дней... Ведь не целую же неделю вам дать.

– Слушаю-с. Через пять дней будет готово. Больше ничего не прикажете?!..

– Нет.

– Я могу идти делать портрет баронессы?!..

– Да... Но, не знаю, согласится ли она сегодня на сеанс... Ее фаворитка больна! – оживился старик.

– Пашута! – быстро вымолвил Шумский, впиваясь глазами в его лицо.

– Да, Прасковья, – отозвался этот, как бы говоря: «для меня нет Пашут, а есть горничная Прасковья».

– Что же с ней? – тревожно повторил Шумский.

Старик глянул с улыбкой ему в лицо своими добрыми глазами и, важно поджав губы, произнес:

– Не любопытствовал еще узнать у баронессы Евы, чем изволит хворать ее фаворитка... да, кажется, и ваша тоже... И вы тоже успели, *vous amouracher de la gamine*³.

– *C'est un ange, monsieur le baron*!⁴ – отозвался Шумский.

– *Oh! Dechu, alors*!⁵... Это чертенок и по лицу, и по нраву, и по ухваткам. Вы, как талантливый художник, господин Андреев, должны знать, что во всей существующей на свете живописи, даже в испанской школе, не найдется изображения ангела, черномазого, как цыган и с дерзкими чертами лица. Прасковья хорошенькая девчонка, но она не ангел, а цыганенок... Скорее моя Ева напоминает собой тот тип, который принято давать ангелам и архангелам. *Les trois B*⁶. В понятии об ангеле буква Б имеет тоже значение...

«Ну... Поехали! Завели шарманку...» – подумал Шуйский и вымолвил:

– Совершенно верно, но только баронесса...

– *Bonte, beaute, beatitude*⁷, – продолжал старик, не слушая. – *Belle, bonne, blanche*⁸... Я непременно в заключении или эпилоге к моему сочиненью...

– О значении букв относительно мозга человеческого, – подсказал Шумский.

³ вы влюбились в девчонку (фр.).

⁴ Это ангел, господин барон (фр.).

⁵ О! Падший тогда... (фр.).

⁶ три Б. (фр.).

⁷ Доброта, красота, блаженство (фр.).

⁸ красивая, хорошая, белая (фр.).

– О, нет... нет... Вы все путаете... Значение звуков, а не букв... Неужели вы не понимаете... Буква есть тело, а звук его душа... Звук – содержание, а буква – форма... И не «относительно мозга»... А их мозговая, *comment vous dire*⁹, законность, необходимость, непреложность... Знаете ли вы, например, что буква б – голубой... Звук с – золотисто-желтый... Впрочем, я забыл! это не про вас, господин Андреев...

Шумский стоял, опустив глаза в пол, как бы выслушивая равнодушно периодически-одинакий выговор, или прислушиваясь к ветру на улице.

– Это, конечно, очень интересно, – вымолвил молодой человек, стараясь не рассмеяться. И он прибавил мысленно: «*Bete*¹⁰, болван, башка – тоже на б начинаются».

– А знаете ли вы, кто первый написал сочинение почти на эту же тему... О родстве, так сказать, красок и звуков. Гениальный Гёте, к которому я два раза ездил поклониться в Веймар и скоро в третий раз поеду! – восторженно проговорил барон.

«И поезжай, да поскорее, – мысленно проговорил Шумский. – Да там застрянь подольше. Или совсем подохни... И лжет ведь... Станет умный человек таким вздором заниматься. Гёте не тебе чета... Его стихи и я читал во французском переводе».

Видя, что беседа с бароном может затянуться, что изредка случалось, Шумский взял со стола тетрадь и слегка попятился, как бы собираясь раскланяться.

– Узнайте... Может быть, Ева и даст вам сеанс... Да, кстати, скажите... Когда же портрет будет готов?

– Скоро-с, – тихо вымолвил Шумский, как бы смущаясь.

– Скоро?.. Вот уже более месяца, что я слышу от вас это слово.

– Мне этот портрет, как я докладывал вам, барон, не задался... Две недели назад я начал сызнова, другой...

– Другой... А первый?..

– Первый я бросил, изорвал...

– Напрасно. Он был, по-моему, очень хорош... Но я надеюсь, что вы не изорвете второго и не начнете третий... И Ева позволила вам изорвать первый портрет...

– Я сделал это вдруг... В минуту вспышки и гнева на мою работу...

– На глазах моей дочери у вас, господин Андреев, не должно быть вспышек, – вдруг сухо вымолвил барон. – Каких бы то ни было!.. Гнева, радости, досады или чего-либо подобного. Вы поняли?!..

Шумский молчал, но лицо его слегка вспыхнуло, и он чуть не в кровь кусал себе губы.

«Создатель мой! Какое терпение надо с тобой иметь!» – думал он про себя.

– Я не желаю оскорбить вас, – продолжал более кротко барон. – Я, как старик и старинного рода дворянин, напоминаю вам, что вы человек, труды которого я оплачиваю... по найму... Если вы, в качестве талантливого художника, допущены в комнату моей дочери, баронессы, ради писания портрета... то все-таки, господин Андреев... надо помнить... себя... Не надо забывать или забываться...

Наступила пауза. Шумский потупился совершенно и тяжело дышал.

– Да, кстати... Кажется, сегодня вам следует получение месячное, *toucher vos appointements*¹¹.

– Нет-с... Послезавтра, – глухо вымолвил Шумский.

– Верно ли? Я думал сегодня...

– Наверное.

⁹ как вы говорите (*фр.*).

¹⁰ глупый (*фр.*).

¹¹ получить ваше жалованье (*фр.*).

– Но если вы, господин Андреев, желаете... Может быть, вам нужны деньги... Пожалуй-ста... Днем ранее или позднее, это ведь все равно... Мне...

– И мне тоже все равно-с, – выговорил Шумский и невольно вдруг улыбнулся веселой и смешливой улыбкой.

– C'est comme il vous plaira... Adieu...¹²

Барон наклонил голову ласково, но важно. Шумский низко поклонился и быстро вышел из кабинета, как бы убегая.

Когда дверь затворилась за ним, он остановился и проворчал вполголоса среди столовой:

– Когда-нибудь я или со смеху прысну тебе в лицо, или того хуже... отдую, вспылив негаданно от какой твоей дерзости... Да... чертовски... дьявольски все задумано и обдуманно. Но хватит ли терпенья... Уменье – не мудреное дело... Терпенье – вот что мудрено.

И молодой человек вдруг задумался и стоял, не шевелясь.

«Пашута? Больна?» – вертелось в его голове.

«Неужели это хитрая канитель с ее стороны, – думал он. – Неужели дворовая девка, Прасковья, такая бой-баба. Такая шустрая? Такое колено надумала, чтобы затянуть мне все дело... Не может этого быть! Ведь тогда я ни вызвать ее к себе, ни даже видеть не могу... Ах, ты!...»

И Шумский вздохнул тяжело от приступа гнева.

«Каково я наскочил!.. Взял за прыткость, а она против меня пошла... Да ведь это ужасно... Это лбом об стену бить и себя... да и ее об стену ухлопать... А сердце мое чувствует, что это игра, комедия... Она здоровехонька, но хочет оттянуть... Ах, проклятая девчонка!..»

Постояв еще мгновение, Шумский двинулся.

– Надо велеть доложить о себе, – проворчал он вслух и пошел в переднюю.

Тот же лакей, Антип по имени, который докладывал об нем барону, дремал на лавке.

– Доложи баронессе обо мне, – сказал Шумский.

Лакей очухался наполовину и, ничего не ответив, сонно пошел из передней.

– Насчет тоись патрета? – обернулся он уже с порога.

– Это не твое дело... Доложи, что я приехал...

– Да барышня уж знают... И сказывали, скажи, что патрет писать нынче не будем... Вам тоись...

Шумский сильно изменился в лице и стоял в нерешимости, что-то соображая.

«Нет... Не надо, – подумал он. – Может рассердиться, если послать переспрашивать... Но что же это значит... Пашутка? Или иное что? Или случайность?..»

– Что Прасковья? Захворала? – спросил он вдруг.

– Не знаю, – лениво и сонно отозвался Антип.

– На ногах она или в постели...

– Я ее нынче еще не видел... Да... и то правда... слышал... лежит! Жалится на живот, что ли...

Шумский повернулся нетерпеливо и досадливо на каблуках, сам взял пальто с вешалки, накинул его и пошел по ступеням к выходу.

«Дьявол какой – девчонка!» – ворчал он сквозь зубы.

– Что теперь делать? Сколько она проломается. День, два?... Или неделю?... Ах, дьявол! – уже вслух говорил он, шагая по улице.

И вдруг он остановился, как вкопанный.

– А что, если она меня совсем выдаст, назовет. Скажет Еве – кто этот живописец!

¹² Как вам будет угодно... Прощайте... (фр.).

VI

Поручик конной артиллерии и флигель-адъютант Шумский, осторожно и таинственно выезжающий из дому в статском платье и с именем г. Андреева являющийся в доме финляндского барона, было, конечно, явлением не заурядным, а крайней дерзостью «блазня».

Молодой человек, очевидно, решился на все... ради вновь затеянного «сердечного дела».

Дело же, которым Шумский был поглощен, которому теперь отдался всеми помыслами, от зари до зари обдумывая, что и как предпринять – было собственно преступным замыслом.

Только в той среде, где он жил и вращался, только в эти дни особенной разнузданности нравов между военной молодежью и только в таком избалованном людьми и обстоятельствами человеке, каков был Шумский – мог зародиться подобный замысел.

Враги Аракчеевского сына, надеявшиеся и ожидавшие, что он не ныне завтра «зарвется» в своих буйных и преступных затеях и хватит через край – соображали совершенно логично. Так и должно было кончиться.

Квашнин, самый скромный и благоразумный человек из всего круга приятелей Шумского, был прав тоже, когда думал или говорил другу:

– Пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить!

А между тем все, что делал Шумский уже давно и то что затевал, наконец, теперь в пылу страсти к околдовавшей его женщине – так просто, понятно, естественно и чуть даже не обыденно и законно представлялось его разуму и его совести.

Казалось, что понятия самого начального о добре и зле не было никогда в этом человеке.

Так зачалась и сложилась вся его жизнь. Обстоятельства сделали его таковым... Виною всего было Грузиновское домашнее житье-бытье...

Знаменитая Аракчеевская усадьба, Грузино, созданная временщиком, которую он посещал постоянно не только летом, но и зимой, была родиной Шумского.

Тому назад лет тридцать, простая дворовая женщина, горничная, обратила на себя внимание сурового графа и, поселенная в доме, сделалась барской барыней.

Аракчеев, тогда еще простой смертный, но уже любимец великого князя Павла, жил одинок, как холостой, имел большую слабость к женщинам красивым, и довольно часто менял их из среды простых мещанок. Между тем, будущий временщик был уже женат на девушке хорошего дворянского рода Хомутовой, но молодая женщина после двух лет сожителства покинула мужа, не снеся его грубого обращения.

Появившаяся же на этот раз в Петербурге, в квартире его, новая экономка на смену прежних была, видно, не чета прежним.

Она была молода и красива, хотя не особенно, умна не очень, но зато очень хитра. Это была только пригожая собой и чрезвычайно лукавая женщина. Вскоре барин и все люди почувяли, что эту женщину лишь не скоро сменит другая, новая. И все ошиблись... Никакой другой уже не суждено было никогда явиться на смену этой.

Настасья Федоровна Минкина осталась у графа на веки вечные и из экономки стала правой рукой во всех его делах и первым, самым дорогим другом.

После нескольких лет счастливой жизни они вместе поселились в Грузине, подаренном императором любимцу. У всемогущего временщика и у его наложницы-друга явилась только одна помеха для полноты счастья и благополучия... Этого не могли дать ни всемогущество, ни власть, ни деньги... Тридцатилетнему уже Аракчееву хотелось иметь сына, наследника всего, что вдруг нажил он... Не сердце его просило этого у судьбы... Сердце, если таковое было в нем, никаким чувствам, свойственным простому смертному – доступно не было. К другу Настасье он был привязан не сердцем. Он был поработен тем, что было и осталось тайной для всех.

Граф, однако, упорно, сердито, прихотливо, желал сына. У него на земле все земное есть, только сына нет! Следовательно, только этого и остается еще упрямо желать и требовать у баловницы-судьбы.

И однажды, лет двадцать с небольшим тому назад, он узнал, что судьба и тут уступила покорно. У Настасьи должен родиться ребенок.

Но сын ли это будет? Дочери он не желает.

У Настасьи Федоровны Минкиной родился сын.

Рождение мальчика в Грузинском дворце было, конечно, событием для всех, от самого графа до последнего его верного раба. Но первый человек, для которого существование этого мальчика стало вдруг уже не важным обстоятельством, а мелкой подробностью житья-бытья – был тот же прихотливый избранник Фортуны. К родившемуся, а затем подраставшему маленькому Мише, граф стал вскоре относиться так же, как и ко всем, ко всему на свете. Он снисходил к сыну с высоты своего величия, холодно, безучастно, иногда грозно. Настасья Федоровна, вероятно, благодаря влиянию на нее друга-сожителя или из невольного подражания, тоже относилась к ребенку сдержанно.

Мальчика, однако, и отец и мать стали баловать с первых же лет, но на особый лад. Баловали не ребенка, а барчонка. Заботились, чтобы все у него было. Вскоре всякая его прихоть исполнялась немедленно, Аракчеевым, Минкиной и, следовательно, всеми обитателями усадьбы... Но чего маленький Миша не видал никогда от отца и редко видел от матери – была нежность родительская, теплая ласка, благотворно касающаяся детского сердца, а затем влияющая и на его детский разум.

Миша знал и видал ласку только от крестьянки, взятой к нему в кормилицы и оставшейся при нем в качестве няньки. Если б не Авдотья, он, быть может, одичал бы совсем и ходил бы по большому Грузинскому дворцу, как дикий зверек, пойманный в лесу и тщательно прикармливаемый людьми.

Миша, когда оглянулся несколько сознательно, т. е. был уже не младенец, тоже не нашел в себе к сумрачно-величественному отцу и к равнодушно-ласковой матери – ничего... Ни любви, ни боязни, ни даже привычки. Ему была нужна одна «Дотюшка», но и то только в минуты какой-либо прихоти и ожидания ее исполнения... Когда мамка упрячилась или журила его, отказывая в чем-либо своему дорогому питомцу – он не только не говорил с ней целый день и два дня, но даже не взглядывал на нее... Вечером, ложась спать, он наотрез отказывался Богу молиться, и никакие уговоры и застрашиванья Авдотьи не помогали.

– Мне никого не нужно... Я один буду... Что захочу, то сам себе и достану! – ворчал десятилетний мальчик.

– Да ведь это грех! – говорила Авдотья. – На меня гневайся, а на Господа Бога, нешто это можно? Господь тебя накажет...

«Накажет» – было слово, которое для Миши не имело смысла. Его никто никогда ни за что не наказывал. Стращали его наказаньем и отец, и мать, но нянька упорно, отчаянно заступалась за ребенка, выходила из себя и иногда загадочно грозила господам... Во всем молчаливая раба, Авдотья Лукьяновна преображалась, доходила до остервенения, когда надо было спасти питомца от розог или от холодного чулана... И все обитатели Грузина дивились, потому что грозный барин и беспощадная в наказаниях Настасья Федоровна, оба равно, каждый раз, уступали мамке Авдотье... Махнув рукой на Мишу и его заступницу, они никогда не приводили угрозы в исполнение.

И наказание для ребенка стало призраком... Это было привиденье, которым люди людей пугают, иногда сами верят, но никогда сами не видали.

А Миша верил только тому, что сам видел и слышал. Таков он уродился.

Когда однажды зашла речь между ним и одним мужичонкой из деревни о столице Москве, Миша на какой-то вопрос крестьянина отвечал:

– Не знаю... рассказывают все, такой город столичный есть в России... Но я его не видал, и есть ли он на свете, не знаю!

Поездки в Москву его отца и других обитателей и постоянные сношения Грузина с отсутствующими были для мальчика не доказательством. Он сам этой столицы не видал!.. А верил он только себе! Мало ли что «они» говорят, его отец и мать. Мало ли что «она» говорит, мамка.

«Они» и «она» были обычным наименованием на языке мальчика, когда он думал или говорил об этих самых ему близких людях, родных и няне. Когда они повиновались ему, т. е. исполняли просимое, давали желаемое, он был только доволен ими, а не благодарен им. Когда же они отказывали, он чувствовал неприязнь к ним и вступал бессознательно в борьбу, и почти всегда после долгой и упорной борьбы побеждал.

И чем более подрастал Миша, тем менее чувства ощущал в себе к родным, тем менее, по-видимому, любили и они его.

Когда же минуло Шумскому двенадцать лет, и Аракчеев отдал сына в Пажеский корпус, то и последняя связь порвалась. Вскоре же родители впервые пожалели посеянное! Через три года после поступления в корпус произошло серьезное столкновение между родителями и отроком, который среди товарищей корпуса быстро развился и «развернулся» не по летам.

Разумеется, за эти три года пребывания в столице Миша набрался всякого ума-разума. Он отлучался из корпуса чаще товарищей, ходил и ездил верхом совершенно свободно и, конечно, завел множество всяких знакомых. При свидании с родными он уже был смел и резок. Однажды он явился к матери с вопросом:

– Отчего я зовусь Шумский, а батюшка графом Аракчеевым? Сын и отец одинаково должны зваться.

Настасья Федоровна оторопела и несколько мгновений сидела, разиня рот. Простой вопрос уподобился удару грома.

Наконец, она собралась с духом и с мыслями и вымолвила сердито:

– Это что за глупые речи?!.. Кто тебя надоумил эдакое спрашивать? Питерский какой вертопрах?

– Глупого ничего нет... И никто не надоумил. Я и в Грузине прежде об этом думал давно, да не говорил... А теперь иное дело... Так пришлось, что надо спросить.

– Не хочет граф, чтобы ты теперь назывался его именем. Будешь умник, будешь называться. Вот тебе и все! – резко ответила Настасья Федоровна.

– Да он отец мне?..

– А то кто же... Кум, что ли?

– Ты мать мне...

– Да что ты? Очумел? – воскликнула Минкина, рассерженная и еще более удивленная. – С чего ты это вдруг такие речи повел?

– Стало быть, ты не жена его, батюшкина, не венчалась с ним, как все жены? Ты отвечай только... Я верно знаю это, но мне надо слышать это от тебя самой. Скажи. Нет? Не венчалась? Не жена ведь его – настоящая?!.

Настасья Федоровна вспылила окончательно и выкрикнула вне себя:

– Вон ступай!.. Уходи!.. Грубиян-мальчишка! Нынче же графу скажу, какие ты со мной негодные разговоры заводишь. Вон пошел, дурак эдакий. Пень!..

Шумский, усмехаясь насмешливо, покачал головой и проворчал что-то... Минкина ясно слышала только вздох его и два слова: – «Ах, дуры бабы!»

Этого было достаточно, чтобы привести женщину в ярость. Она двинулась и из всей силы ударила сына по щеке... Пощечина смаху свалила Мишу на пол... Но, вскочив на ноги, он, остервенелый, как кошка, одним прыжком бросился на мать и вцепился ей в чепец и в волосы... Еще два удара сильных и здоровых кулаков Минкиной, снова ошеломя, сбили его на пол... Миша не сразу пришел в себя... а когда поднялся, зарыдал и опрометью бросился вон

из горницы. Это было первое оскорбление в жизни, которое ему приходилось перечувствовать. Вдобавок оно было им почти не заслужено и получено от родной матери.

15-тилетний малый весь день пробродил, как в чаду, по улицам Петербурга. Настасья Федоровна, взбешенная, конечно, не утерпела и тотчас пожаловалась графу на сына. Но, разумеется, она передала все Аракчееву в несколько ином и смягченном виде. Он узнал от сожительницы только про упрямство сына в его желании разъяснить обстоятельства своего рождения.

Наутро Шумский был позван к отцу и, не робея нисколько, предстал пред грозные очи временщика. Час целый простоял он пред сидящим в кресле отцом и слушал нравоучение со ссылками на законы российские, на Евангельское учение и на тексты посланий апостольских. Проповедь графа сводилась к тому, что дети не должны судить родителей, должны почитать их, чтобы снискать благословение Божеское, а главное – долгоденствие на земле. И тут впервые юный Михаил Шумский будто прозрел и глянул вдруг иными глазами на графа, Настасью Федоровну и на себя... Ему показалось или почуялось, что он им совершенно чужд, что он для них какой-то предмет, какая-то затея... Они же для него тоже ничто, лишь какое-то любопытное явление...

Ему показалось, что она, его мать – женщина ограниченная и себялюбивая, злая ко всем, кроме своего благодетеля, которому предана рабски, как холопка, но предана, однако, не сердцем, а лукаво и расчетливо. Ему показалось, что и он тоже, его отец, человек замечательно черствый, полный самообожания, боготворящий даже себя самого и презирующий всех кругом себя... Но, главное, что возникло в голове Шумского вопросом и поразило его самого, был вопрос:

«Умен ли этот человек, как говорит мать, говорят все кругом?»..

На этот вопрос Шумский ответил себе определенно и решительно только впоследствии. Но теперь явилось впервые подозрение, что этот всеобщий идол, закаженный окружающими его и в Грузии, и в столице, будто совмещает в себе двух лиц, двух человек, два существа... Один граф Аракчеев, временщик, наперсник царя, неограниченно всемогущий и властный – показался Мише только злым пугалом для всех и «кровопийцей» своих рабов. Другой граф Аракчеев, сожитель и покровитель его матери, его родитель, показался ему человеком просто глупым, привередником, брюзгой, которого многие кругом часто рядят в шуты.

Ведь он правит Россией, а простая, дурашная и малограмотная женщина правит им, будучи сама во всем управляема ключницей Агафошихой, из которой – ключницы – делает, что хочет молодой скотник, красавец и пьяница Кузька... Что же это? Скотник Кузька может, стало быть, если захочет, порешить по-своему государственное дело.

На этом логичном, но диковинном соображении Шумский остановился и мысленно махнул рукой. У него еще не хватало достаточно дерзости разума, чтобы считать свои помыслы и догадки непреложными истинами. Это свойство его характера должно было развиваться немного позже.

Но теперь куда возникло и сказалось в нем ясно, крепко и решительно только крайнее недоверие к тому, как судят все этого грузинского властелина.

И с этого именно времени в Шумском началась та душевная работа и переработка всех ощущений и впечатлений его прошедшего и настоящего, которая постепенно сделала из него «маловера», как метко окрестила его однажды Авдотья.

– Бог его знает, что из него выросло, – сказала нянька однажды, оставшись наедине с барыней Настасьей Федоровной. – Он маловер!.. Он не токмо на графа, он в храме Божьем на иконы исподлбья смотрит... Так чего уж тут спрашивать! С сглазу, что ли, это какого приключилось?.. Ладанку бы на него от мощей надеть.

– Мало драли!.. Вот что! – решила Настасья Федоровна. – Без розог коли вырос молодец или девка – значит вся жизнь их прахом пойдет, а после смерти прямо к чертям на сковороду.

Ты за него ответ дашь, мамка, пред Господом Богом. А мы с графом – сама ты знаешь – за Мишу не ответчики. Людей обмануть можно, а Господь-то ведь все видит!..

VII

Выйдя из Пажеского корпуса 18-ти лет, Шуйский сделался модным гвардейским офицером, каких было много. Он отлично говорил по-французски, ловко танцевал, знал некоторые сочинения Вольтера и Руссо, которые, несмотря на тоску, все-таки прочитал, подражая другим товарищам, и рисовался повсюду свободомыслием и вольнодумством. Кутежи по трактирам и по разным зазорным местам были на втором плане. На первом же плане были «права человека», великие столпы мира: «свобода, равенство и братство», дешевое кощунство над религией, «божественность природы» пантеизм и, наконец, целые тирады, наизусть выученные из пресловутого «Эмиля» Руссо, забытого во Франции, но вошедшего в моду на берегах Невы.

Так длилось, однако, недолго... Вдруг случилось в Петербурге событие, которое повлияло на весь строй жизни гвардейцев... Разыгралась история в Семеновском полку, прозванная и известная под именем семеновского бунта... История кончилась пустяками, но молодежь гвардейцев стали подтягивать. Пуще всего принялись искоренять всякое вольнодумство, предоставляя одновременно широкий простор «правам молодости», чуть не поощряя всякие проявления разнузданности, всякие буйства, соблазны и скандалы.

«Пускай молодежь тешится всякой чертовщиной, лишь бы бросила Вольтеровщину!» – выразилось однажды крупное начальственное лицо.

Поблажка всяким «шалостям» произвела моду на эти шалости... И скоро это поветрие дошло до того, что самый скромный и добродушный корнет или прапорщик, еще только свежеиспеченный офицер, как бы обязывался новой модой – отличиться, принять крещение или «пройти экватор», как выражались старшие товарищи.

Пройти экватор – значило совершить скандал... по мере сил и умения, что Бог на душу положит! Вскоре, разумеется, явились и виртуозы, имена которых гремели на всю столицу, стоустая молва переносила их в захолустья и слава о подвигах героев расходилась по весям и городам российским.

Одним из этих виртуозов явился и Шумский... Первые его подвиги почему-то очень позабавили и утешили временщика-отца, прошли, конечно, безнаказанно, а на шумели много – дали ему известность... и стали для него роковыми. Он уже не вернулся вспять и не сошел с этого как бы избранного пути... Отец вскоре как бы спохватился, был недоволен и журил сына, но было поздно...

Однако, среди этой жизни, проводимой среди карт, вина и продажных женщин, с примесью непристойных скандалов и буйств – было собственно слишком много однообразия, не было пищи, не могло быть удовлетворенья для человека мало-мальски выдающегося и одаренного от природы. А таков был Шумский.

– Господи, какая, однако, тоска на свете жить! – восклицал часто баловень совершенно искренно.

– Влюбись! – советовали товарищи, зная, что это единственное, чего не испробовал еще Шумский.

Действительно, молодой человек, переставший давно бывать в обществе и танцевать на балах, как делал первый год после выпуска из корпуса, перестал видеть степенных людей, не был знаком коротко ни с одним порядочным семейством. Поэтому он не мог и встретить кого-либо, девушку или женщину, достойную увлечения... Женщин, которых видал он, и к которым зачастую привязывались сердцем иные из его товарищей, он не мог полюбить, он даже не считал женщинами...

В душе своей он носил женский облик, создание мечты своей и, фантазируя в часы досуга или отдохновенья от кутежей, говорил себе...

– Вот такую полюбил бы... Да и не по-вашему... Не вздыхал бы и вирши не плел бы в ее честь. Сделал бы из нее идола-бога, которому бы приносил всякие жертвы... Конечно, и человеческие, если бы того потребовали обстоятельства.

К удивлению Шумского, его идеал был, казалось, невоплотим на земле... Нигде, ни разу не встретила ему такая женщина, которая хотя бы немного и издалека могла померяться и сравниться с его мечтой...

Таким образом, несмотря на то, что ему было уже почти 22 года, а на вид казалось 25 и даже более, он ни разу еще не был увлечен женщиной, не был влюблен и теперь был уже уверен, что он никогда не полюбит никого, так как, очевидно, его природа на это чувство не способна... И он ошибся...

Пришла ли просто пора любить, или простая случайность подействовала на скучающий разум и впечатлительный мозг или, действительно, его мечта вдруг воплотилась и явилась пред ним в образе девушки? Этого и сам он, холодно рассуждавший и обдумывавший сотни раз свою «первую встречу с ней», не мог решить.

– Может быть от тоски все это так приключилось и так разыгралось. От глупой, пьяной, пустой жизни! – говорил он иногда, но чувствовал, что лжет себе.

Месяца четыре тому назад, только что пожалованный в флигель-адъютанты, Шумский не долго тешился и гордился своим новым мундиром и положеньем и скоро начал снова пить, безобразничать и страшно скучать.

Однажды, в одно воскресенье, он шел по Невскому, как всегда, скучающий и рассеянный, едва кланяясь знакомым и кланяясь по ошибке тем, кто кланялся не ему, а соседу.

Навстречу ему показался, наконец, один новый его знакомый офицер уланского полка, заинтересовавший его накануне... Он вспоминал о нем даже ночью среди бессонницы, затем увидел его во сне. Улан как-то странно, дико пригрезился ему...

– Как? Что такое? – старался Шумский вспомнить, глядя на приближающегося офицера. Тот подошел, раскланялся...

– Вспомнил! – вслух выговорил Шумский, рассмеясь. – Здравствуйте! Я вас во сне видел... Праздничный сон до обеда... Мне надо от вас посторониться или бежать.

– Что такое? – удивился офицер.

– Мне пригрезилось, что вы меня за грудь укусили. Так и вцепились...

Оба рассмеялись и стали говорить о вечере, проведенном накануне... Вечеринка эта, у одного из товарищей улана, была не в пример всем тем, которыми наполнена была вся жизнь Шуйского и его приятелей-кутил.

Улан этот, балтийский немец родом, студент Йенского университета, но отлично говоривший по-русски, так как мать его была не только чистокровная россиянка, но и москвичка, заинтересовал Шумского накануне самым простым способом.

Улан по имени и фамилии Артур фон Энзе рассказывал все, что знал о Германии, об университетской жизни, о студенческих корпорациях и, наконец, беседа перешла на поэзию...

– Давно ли вот Наполеон был в Москве! – говорил Шумский. – Если бы мы были все немцами Германами, так Бонапарт и по сю пору сидел бы в Кремле и царствовал... Нет, наши Германы за топоры взялись, а наши Доротеи, бабы и молодухи, кочергами и ухватами французов доколачивали.

Фон Энзе был страстный поклонник знаменитого старца Гёте, слава о котором хотя и достигла до берегов Невы, но не достигла до всех петербургских обывателей... в особенности тех, в кругу которых вращался Шумский... Сам он, не раз слышав имя немецкого поэта, только мог прочесть французский перевод «Германа и Доротеи», что показалось ему сочинением совершенно глупым. Он и высказал новому знакомому свое мнение...

Фон Энзе с жаром, увлекательно и красноречиво, стал объяснять Шумскому, в чем заключается прелесть «Германа и Доротеи». Шумский слушал с крайним удовольствием... Его

недожженный ум сразу как бы встрепетул. В речах фон Энзе ему вдруг почудилось что-то новое, хорошее, будто какая-то музыка.

Кончилось тем, что немец-улан, зная поэзию Гете наизусть, стал передавать многие стихотворения русской прозой, причем выражался не только правильно и плавно, но и красиво, фигурно, с воодушевлением, с чувством в голосе...

Шумский вышел поздно ночью от приятеля в особенно хорошем расположении духа... Когда же, придя домой, он застал у себя компанию пьющих и играющих товарищей, или, по выражению Квашнина: «сущий трактир», то ему стало особенно приятно воспоминание о вечере, проведенном с фон Энзе. Теперь, встретившись и перемолвившись с балтийцем, он стал сразу веселее и бодрее... Тотчас же позвал он его к себе в гости, но офицер отвечал уклончиво, видимо, не желая воспользоваться любезным приглашением. Шумский, не привыкший к подобного рода отказам, был несколько уколот и стал настаивать, звать офицера тотчас же вместе ехать к нему.

Фон Энзе из вежливости, неохотно, обещал, наконец, быть в тот же день, но никак не тотчас...

– Сейчас. Прямо ко мне!.. – настаивал Шуйский. – Иначе вы меня... Ну, обидите...

Фон Энзе объяснил, что это совершенно невозможно, так как он отправляется на похороны родственницы, которую мало знал при жизни, но на похоронах которой обязан непременно быть.

– Я уже и так немного запоздал, – прибавил он. – А после похорон я тотчас приеду к вам...

Шумский, упрямый и прихотливый в иные минуты до чрезвычайности, почти до болезненности, как все избалованные чересчур люди, сразу стал сумрачен. Его прихоть, и пустая, – не могла быть исполнена.

Спросив, в какой церкви отпевание покойной родственницы офицера и, узнав, что не в русской, а в католической, Шумский вдруг обрадовался оригинальному способу провести время. Он никогда не бывал в католической церкви и не видал богослужения в ней...

– Я с вами! – вымолвил он. – Вы за упокой будете молиться, а я так... Во здравие свое, представление буду смотреть. Скандала никакого, конечно, не сделаю... Не бойтесь! – прибавил он, добродушно смеясь на всю улицу.

Через несколько минут оба офицера уже входили в церковь, портал которой был драпирован черным сукном, с белыми каймами, а перед папертью стояла в ожидании погребальная колесница... Церковь оказалась довольно полна народом, среди которого стоял на возвышении черный гроб. Вся внутренность храма, очень мало освещенного близ престола, была темна, вся толпа протянулась сплошной черной массой, так как все женщины были в трауре...

И только в одном месте, недалеко от гроба, было как бы небольшое белое пятно... Это была женская фигура в белом платье, белой шляпке с длинным, белым вуалем, красиво упавшим с ее головы за спину. Шумский не последовал за офицером в первые ряды, а остался недалеко от входа и прислонился к стене.

Отсюда он мог видеть все: народ, богослужение, престол с высокими свечами, причт в странном для него облачении... Но, раз окинув все взором, он перестал наблюдать, а весь обратился в слух... Великолепный хор певчих и орган, исполнявшие очевидно *requiem*¹³, сразу пленили его... Сочетание музыки с мертвым телом и похоронами поразило его, было для него курьезной новизной, как бывает с ребенком, который поражен тем, что другие даже не видят в силу привычки...

Шуйский стоял, не шевелясь, и с наслаждением, жадно прислушивался... Он любил музыку, но слышал ее крайне редко... От окружающей теперь обстановки, новой для него,

¹³ реквием (*фр.*).

музыка эта показалась ему осмысленнее и сильнее. В этих звуках были будто бы цель и смысл – совершенно особые... Это не ради только удовольствия и одной забавы публики совершается!.. Эти мелодичные волны звуков льются с выси, то скорбно-сильные, то тихо и робко унылые и будто относятся к тому мертвецу, который лежит в гробу.

– Чудно это, – думалось Шумскому. – Никогда со мной не бывало такого в театре или на концерте... Взял бы да заплакал!.. Ей-Богу! Одна беда – слез у меня таких и в заводе нет... Я слезы лью только, когда напылит в глаза.

Внимательно слушая и раздумывая о том, что какое-то хорошее чувство копошится у него в груди, Шумский невольно, но и бессознательно, остановил рассеянный взгляд на этом единственном предмете в церкви, который выделялся из всей темноты, т. е. на белой фигуре дамы с длинным вуалем.

– Отчего она в белом? Вся ведь в белом, с головы до пят. Она одна из всех... Кто ж это? Родственница покойной? Что ж это так полагается, что ли, по-ихнему? Обычай это? Чудной обычай!

Все эти вопросы возникали в голове Шумского невольно, под звуки реквиема, но полусознательно, и объяснение, собственно, не интересовало его.

– Славно! Ей-Богу, славно! Лучше нашего! – весело воскликнул молодой человек шаловливым голосом, когда музыка смолкла и в церкви все задвигались, готовясь к выносу. Когда меня будут хоронить, хорошо бы тоже с музыкой и пением... Камаринскую бы в честь моего подошедшего тела отхватать забористо... Да так, чтобы чертям в аду, на радостях поджидающим меня, тошно стало...

– «Ну, царство тебе небесное, голубушка», – прибавил мысленно Шумский, увидя гроб, который подняли на руки и проносили мимо него на паперть... «Спасибо, из-за тебя кой-что новенькое видел. В нашей собачьей жизни нового ничего не бывает... Разве вино какое новое, кто из приятелей разыщет... И от него потом еще пуще тошнит, чем от старого... А?! Вот и она, белая барынька!..»

В числе провожавших гроб из церкви двигалась к нему дама в белом платье и вуале, но была еще вдалеке и в сумраке церкви... Тихо приближалась она, а Шумский невольно глядел на это белое пятно толпы.

Но вдруг он двинулся и напряг зрение. Затем вдруг двинулся еще и сильнее, толкнул даже двух стоявших перед ним мужчин, чтобы пролезть ближе к ней, к идущей...

Она подошла, поравнялась с ним, прошла... Только длинный, белый вуаль еще виднелся, играя и развеваясь за спиной ее, так как с улицы в отворенные настежь двери пахнул ветер... Затем идущая вслед толпа скрыла ее с глаз.

Шумский стоял на том же месте, не двигался, опустил голову и бормотал шепотом:

– В белом? Обычай, что ли это?.. Из себя очень недурна... Бела уж очень тоже и лицом... Ей бы в цветном или в черном ходить... Глуповатое лицо... Да и походка какая?.. Точно привидение какое, не шла, а скользила тенью... Верно немка или шведка... и дура!

И чрез мгновение Шумский мысленно произнес:

– Однако, какая же ты-то скотина! Ты! Себе самому врешь всякое... Кого ты надуть хочешь? Себя! Зачем? Ну, приглянулась... Сердечко екнуло. Что ж тут? От такого лица у всякого что-нибудь может случиться... Тебяхватилошибко, сразу, врасплох, как обухом... Ну, и не комедианствуй сам с собой... Хороша! нечего, брат, врать! Хороша! Хороша! Вот как хороша, что черт бы ее побрал! Да и меня тоже. За каким я лешим сюда лазил на похороны какой-то родственницы какого-то немца... А ведь он знает, наверно знает... Она знакомая или родня покойной.

Быстро двинулся и вышел Шумский из церкви, даже не отдавая себе отчета в движении, и стал оглядываться, чтобы найти глазами немца. Но фон Энзе уже шел к нему навстречу...

– Простите, Шумский, я сейчас не могу быть у вас, потому...

– Скажите, кто эта дама вся в белом? Вон идет, – прервал он офицера.

– Баронесса Нейдшильд.

– Кто ж такая?

– Единственная дочь довольно известного в столице финляндского сановника и чудака, который...

– Она незамужняя, стало быть?..

– Ей семнадцать лет... Богатая невеста и, как видите, красавица, не правда ли?

Говоря это, фон Энзе вдруг вспыхнул. Его обыкновенно белое и свежее лицо все покрылось пурпуровой краской от глаз и бровей до подбородка. Шумский пристально присмотрелся к нему, ядовито ухмыльнулся и подумал:

«Только школьники да влюбленные юнцы так краснеют. Стало быть, не я один... И он тоже... Не я один!? Вот и здравствуйте. Да разве я уже влюблен...»

Шумский громко рассмеялся своей мысли, протянул руку фон Энзе и, крепко пожав его руку, пошел от него, не сказав ни слова. Смех этот кольнул немца. Он принял его за дерзкий намек на ту краску, которую он невольно чувствовал на своем лице.

VIII

В первый раз в жизни Шумский сам себя не узнавал, сам на себя не мог надивиться. С минуты встречи в церкви с дочерью финляндского барона он думал о ней непрерывно... Мысли его были просто прикованы к ней, и в тот же день вечером он уже сознался себе, что положительно влюблен. Он принялся объяснять себе, как это могло случиться, и объяснение было простое, совершенно естественное.

Он, как и все мужчины, выше всего ставил в женщине красоту, женственность, грациозность. Но известная кроткая задумчивость в лице, которая свойственна некоторым типам белокурых и добродушных женщин, всегда особенно прельщала его... Все это было в этой девушке, которая только прошла мимо него и было в гораздо большей степени, чем он когда-либо встречал...

Она была полным воплощением его любимой фантазии. Грациозно кроткое личико, с правильно нежными очертаниями, безграничное добродушие и полное отсутствие воли и нрава в больших светло-синих глазах. Какая-то даже робость в этих глазах всего окружающего, боязнь людей. Будто вечная мольба взглядом, чтобы не обидели, не уязвили ее... Мягкий свет этих глаз говорил, что она ни с кем и ни с чем в борьбу не вступит, а всякому уступит, станет повиноваться, ибо это ее призвание, назначение... Вот что ясно сказывалось в лице, во взгляде и как бы во всех медленно робких движениях этой девушки. И все это сразу увидел, или, вернее, почувствовал и отгадал Шумский.

Для него, самовольного, крутого нравом, грубоватого в мыслях и речах, именно и заключалась особая прелесть найти крайнюю противоположность своей натуры.

Через несколько дней Шумский знал уже все о бароне Нейдшильде и его дочери, как если б уже десять лет был знаком с ними.

Собрать все сведения даже в один час было ему не трудно, если б он обратился к тому же фон Энзе. Но Шумский почувствовал в нем соперника... Рассказать все друзьям и просить их содействия было немыслимо, ибо их неосторожность могла быть для него роковой.

У молодого офицера был под рукой золотой человек на всякие дела и порученья, человек, родившийся, чтобы быть шпионом, лазутчиком и настоящим, не трусливым, а хитрым и смелым Лепорелло.

Этот человек был поляк Шваньский, недавно исключенный из одного уланского полка прапорщик, и получивший теперь через графа Аракчеева чин коллежского секретаря. Он был причислен к военному министерству, но состоял на действительной службе у Шумского, жил у него и получал даже определенное жалованье, кроме частых подачек. Шумский приказал своему фактотуму Лепорелло в один день все узнать про барона Нейдшильда. Шваньский узнал очень многое. Но этими сведениями он сам не удовольствовался, а взяв бричку и почтовых, отправился в Гельсингфорс и привез через пять дней целую массу сведений о бароне и его дочери.

Шваньский сделал свой доклад и прибавил:

— Даже на могиле ихней нянюшки побывал-с! — Он дополнил это полусутою, с невообразимо уродливой улыбкой, которая невольно смешала всех его знавших. Улыбающийся Шваньский был настоящая обезьяна...

— Как на могиле нянюшки?.. Чьей? — воскликнул Шумский.

— Ихней-с. Баронессиней нянюшки... Как же?.. На кладбище в Гельсингфорсе... Поклонился...

— Зачем? — расхохотался Шумский. — Что ты мог узнать от этой ее могилы...

— А вот-с и ошибаетесь, Михаил Андреевич. Узнал кой-что очень многозначительное и вам интересное.

– Что же? Дурень... Сторож кладбищенский, что ли, тебе рассказал что-нибудь...

– Нет-с, памятник нянюшкин мне кой-что рассказал. Памятник богатеющий, в тысячу, поди, рублей, а на нем надпись: Дорогой, значит, моей няне, которая меня, значит, любила и которую я любила, как мать. Ее имя все проставлено и баронессино имя все проставлено... Это нешто ничего не значит для понимания вашего, какая это девица?.. Чувствительная, нежная, благодарная и тому прочее и прочее и прочее...

– Да, правда твоя, – задумчиво отозвался Шуйский.

– Ведь стоило сходить на могилу нянюшки? Признаете, что не глупо поступлено?

– Нет. Не глупо... Ты ведь, я не спорю, иногда по нечаянности и умно поступаешь, – пошутил Шуйский.

По возвращении Шваньского из Финляндии молодой человек тотчас собрался искать кого-нибудь, кто знает барона, чтобы быть ему представленным. К фон Энзе он опять обращаться не хотел. Он подозревал, по собранным сведениям, что не только немец влюблен давно и серьезно в баронессу, но что и она относится к нему благосклонно...

Познакомиться оказалось очень мудрено. Барон с дочерью почти нигде не бывал, кроме двух стариков, земляков своих. У самого барона приемов не было никаких. Он почти никого не пускал к себе, кроме тех же приятелей финляндцев и кроме родственника покойной кузины своей, т. е. того же фон Энзе.

Быть представленным барону и баронессе где либо на большом бале во дворце или в собрании, или в театре, на каком-либо публичном увеселении, гулянии или зрелище – было невозможно. Барон изредка показывался с дочерью-красавицей в многолюдных сборищах. Но к чему же это знакомство поведет? К одному визиту, причем барон может и не принять его, или приняв и не отдав визита, не звать.

– Как же быть! Ведь это какая-то чертовщина. Это надо мной дьявол тешится! – думал и восклицал Шумский. – Одна девушка на всю столицу мне понравилась и крепко, сразу... И ее-то и нельзя видеть! Она-то и живет, как в монастыре или в крепости.

Было одно простое средство. Объяснить все отцу и просить графа Аракчеева явиться посредником в этом и для него удивительном по своей неожиданности приключении. «Его буян Миша, да влюблен?»

Но зачем? Что просить у графа. Просить его объяснить барону, что некто, его побочный сын, несканзанно прельщен баронессой и... Что же? Сватать его?!

– Да я вовсе не собираюсь свататься или жениться, – смеялся Шумский сам с собой. – Да барон за меня дочь и не отдаст, пожалуй. Эти чухны гордятся тоже своим дворянским происхождением. А они наполовину шведы, стало быть, как говорят бывавшие в Швеции – еще более горды и надменны, чем иные аристократы иных стран. Да я и не хочу жениться на ней... Чего же я хочу? Познакомиться, видаться, понравиться... А там видно будет! Полюбит она меня, мы и без покровительства моего отца и согласия барона обойдемся.

Прошло еще около недели.

Шуйский стал настойчиво и решительно избегать своих товарищей, никого не пускал к себе, не сказываясь дома или сказываясь больным и почти перестал выезжать. Сидя один в своей спальне, он ломал себе голову.

– Что делать? Врешь, башка, надумаешь. Я в тебя веру имею крепкую... Только надо пугнуть тебя. Надумаешь! Извернешься...

И кончилось тем, что молодой человек, предприимчивый и дерзкий, не привыкший сдерживать себя пред какой-либо преградой, когда затея возникала в его голове – вдруг придумал нечто совершенно невероятное и мудреное... А между тем, оно показалось ему самым простым и легким делом... Действительно, если ему, Шумскому, по пути к цели в дерзком замысле, не останавливаться ни перед чем, смело шагать через все условия принятой морали и принятых обычаев, через крупные и важные преграды и помехи, – то успех может быть несомненно...

– Была не была! Пан или пропал! Смелость города берет! – весело восклицал Шумский.

Молодой малый надумал проникнуть в дом барона и сделаться у него своим человеком, воспользовавшись некоторыми странностями его характера, его чудачеством, которое было известно в столице и которое Шумский узнал через посредство ездившего в Финляндию за справками Шваньского. Молодой человек решил верно и метко два вопроса, один по отношению к барону, другой относительно молодой девушки.

Во-первых, кому позволит скорее и легче барон, добряк до чудачества, гвардейцу флигель-адъютанту или простому смертному, серенькому человечку, бывать у него часто и видать запросто и его самого и дочь баронессу. Конечно, последнему скорее!

Во-вторых, способна ли будет запертая в четырех стенах дома, и, очевидно, скучающая девушка полюбить того почти единственного человека, которого она будет видать ежедневно запросто... Гордость будет ее останавливать, но скука будет толкать на сближение с ним. Если она благосклонно относится к немцу-улану, то очевидно от тоски, одиночества и однообразной жизни.

И Шумский решил перейти порог дома барона не Шумским, сыном Аракчеева, не офицером гвардии, а замарашкой, бедным дворянином, чуть не умирающим с голода в столице за неимением места и работы...

Родители дали ему, господину Иванову, Михайлову или Андрееву – блестящее воспитание, научили даже отлично говорить по-французски, сделали из него светского человека и умерли, не оставив ни гроша и пустив на все четыре стороны... Круглый сирота – он погибает... А он не глупее, не дурнее других, пожалуй, головой выше многих батюшкиных богатых сынков, гвардейцев и чиновников столицы...

Барон может и благодеянье человеку оказать и пользу извлечь себе из него...

И так надо Михайлову или Андрееву, – эти два имени ему все-таки ближе и легче на них отзывать – надо явиться к барону за куском хлеба, Христа ради.

На первых порах Шумский решился было прямо идти к барону, с улицы проситься пред его ясны очи, но тотчас же раздумал...

– Для скачка нужен разбег, – пошутил он. – Чем дальше я отойду от цели вначале, тем скорее ее достигну. Надо ехать в Гельсингфорс. Надо быть рекомендованным оттуда каким-нибудь дураком к одному из старичков приятелей барона. А этот уже меня, как своего протеже пошлет к Нейдшильду. И барон не откажет услужить приятелю... А понравиться ему – уже мое дело!..

Через три дня после этого решения, Шумский исчез из Петербурга и пропадал неделю...

Никому в его квартире не было известно, где он. Товарищи предполагали, что он в Грузине, и только один Квашнин, узнавший от Копчика, что барин поехал по Выборгской дороге – удивился и был озабочен.

Шумский, снова появившийся в столице, был неузнаваем. Он был весел, добр со всеми без исключения, говорлив и по всему... самый счастливый человек на земле. Вдобавок, он совершенно перестал пить, играть и вообще кутить... По утрам он начал рано вставать, чего никогда не бывало прежде и, тотчас выйдя из дому, исчезал до полудня, а иногда до двух часов дня, но вместе с тем за это время нигде никогда никому из приятелей не попался навстречу... Он пропадал в эти часы, а где – не хотел объяснить и всегда отвечал звонким и довольным смехом счастливого человека.

Так прошел месяц, после чего Шумский стал снова задумчив, озабочен, раздражителен, вспыльчив и всем товарищам было уже ясно, что у молодого человека есть нечто очень серьезное, что он чем-то волнуем донельзя. Какая-то тайна в его жизни мучает его и изводит.

IX

Нравственная пытка, которую переживал Шумский и которую заметили его друзья, явилась последствием его знакомства и сближения с пленившей его юной баронессой. Ловко и дерзко одолев все препятствия и проникнув в дом Нейдшильда, Шумский, собственно, не достиг ничего.

Белолицая и светлоокая финляндка была непобедима, неуязвима... Страсть Шумского, разгоравшаяся с каждым днем, казалось, не могла вовсе коснуться ее, не только зажечь в ней искру сочувствия или взаимности.

– Что ж это... Мраморная статуя! – восклицал часто Шумский, оставаясь один и обдумывая свои отношения к очаровавшей его женщине. – Нет!.. Это снеговая глыба, принявшая образ молодой девушки...

Иногда вне себя от злости и отчаяния он восклицал:

– Она просто восковая кукла! Действительно, баронесса Ева была красива, как может быть красива только искусно сделанная кукла с нежной, прозрачно белой кожей лица и рук, с розовым румянцем на щеках, легким и ровным, который никогда не сходил и никогда почти не усиливался, будто нарисованный. Большие светло-голубые глаза, окаймленные пепельными бровями и почти серебристыми ресницами, имели только одно выражение невозмутимого спокойствия, вечной ясности души и помыслов, а равно и отсутствия воли...

Пылкая и поэтому нетерпеливая натура Шуйского должна была пройти целый искуc терпения и выжидания... Тут столкнулись огонь и лед.

Сначала, когда к барону Нейдшильду явился бедный и благовоспитанный молодой человек, г. Андреев, с рекомендацией приятеля барона и стал просить занятий ради куска хлеба, барон затруднился... Но доброта его взяла верх... Г. Андреев, элегантный, умный, даже остроумный, притом скромный, наконец, собеседник более или менее занимательный, понравился барону.

– Такому молодому человеку нельзя не оказать благодетелей! – решил про себя и сказал дочери барон.

И Нейдшильд стал давать Андрееву разную работу, иногда порученья, иногда он просто сажал его и хотя холодно вежливо, но беседовал с ним подолгу, удивляясь его благовоспитанности и образованию.

Баронессу Шумский видал не всякий раз, когда являлся, да и то мельком, на мгновение. И надо было непременно придумать что-нибудь, чтобы видеть ее чаще и хотя немного сблизиться.

По счастью для себя, даровитый и способный малый обладал в числе разнообразных маленьких талантов – одним, который давно бросил... Когда-то, года три назад, он много и хорошо рисовал пастелью и случалось делал удачные портреты. Заброшенный талант теперь мог сослужить службу. Шумский со страстью снова принялся за цветные карандаши и в десять дней сделал два портрета, которые привели его товарищей в искренний восторг.

– Стало быть, не разучился. Могу! могу! – радовался Шумский, как ребенок.

Разумеется, на предложение г. Андреева делать портрет баронессы пастелью больших размеров, чуть не *en pieds*¹⁴, барон с удовольствием согласился...

Начались сеансы... т. е. пребывание наедине, вдвоем, по часу и более...

Шумский теперь мог по праву, не сводя глаз с модели, страстно пожирать глазами свою очаровательницу.

¹⁴ во весь рост (*фр.*).

Баронесса Ева в первые сеансы сидела молча, холодная, как статуя, безучастная, как восковая кукла, строгая, как королева; но понемногу, поневоле прислушиваясь к тому, что без умолку говорил и рассказывал скромный, любезный и умный г. Андреев, Ева, наконец, сама заговорила. Она стала интересоваться судьбой художника-портретиста, его невероятным и тяжелым прошлым.

Шумский столько налгал и выдумал на себя, что нужно было особое усилие памяти, чтобы не запутаться самому в том романе, который он сочинил и героем которого был сам...

И Ева стала относиться к Андрееву участливо, мило, снисходительно. Он ее интересовал, ей было его жалко всем сердцем. А от жалости к чувству недалеко.

– Но к какому чувству? – спрашивал себя Шумский.

Дни шли за днями. Ева встречала живописца несколько любезнее, чем прежде, подавала руку, чего прежде не делала, улыбалась, как доброму приятелю...

Затем, глаза ее стали иногда дольше останавливаться на сидящем пред ней за мольбертом молодом человеке. В глазах появлялось что-то большее, чем благосклонность, ясно светилось чувство приязни...

И Шумскому оставалось теперь изучить характер баронессы, знать всю ее жизнь наизусть, не только все ее привычки, склонности или причуды, но даже, по возможности, все ее тайные помыслы. Тогда уже легко будет бороться с ее гордостью и с ее ледяным хладнокровием.

– Но как этого достигнуть? – думал Шумский и, конечно, ничего придумать не мог.

Самый пустой случай помог ему. Однажды баронесса во время сеанса была озабочена и не в духе. На вопрос Шумского, она объяснила, что у нее настоящее маленькое горе. Ее любимая горничная, жившая у нее уже года три, выходит замуж и уезжает с мужем в Свеаборг.

Шумский даже вспыхнул от мгновенной мысли, которая при объяснении баронессы зародилась неожиданно в его голове. Мысль эта, как скользнувший луч среди темноты, даже, как упавшая молния, осветила ему дальнейшее его поведение, дальнейшие козни относительно возлюбленной.

Он стал расспрашивать баронессу об ее любимице, выходящей замуж, предлагая найти ей совершенно такую же девушку взамен. Ева оживилась, насколько ее натура и раз принятое чопорно-вежливое отношение к г. Андрееву, позволяли это. Из расспросов, искусно и тонко делаемых, Шумский узнал, что в однообразной и скучной обстановке Евы горничная при ней поневоле играла видную роль, была почти наперсницей, которой она поверяла многое задушевное...

Шумский выслушал все и объявил, что баронесса другой такой же горничной в Петербурге не найдет, а равно и он сам не берется найти.

– Это невозможно, – объявил он. – Подходящая девушка, полуобразованная, не захочет быть горничной или хоть даже только именоваться таковой. А горничные, существующие в Петербурге из крепостных или из вольных, совсем не годятся, чуть не простые деревенские бабы.

А, между тем, в тот же вечер полетел гонец в Грузино с письмом молодого человека к матери, в котором он просил немедленно выслать к нему девушку Прасковью.

Х

Девчонка, когда-то едва не утонувшая и вытасненная из воды нянькой Шумского, была теперь девушкой уже взрослой, но на вид ей можно было дать не более 20-ти лет, настолько была она моложава, жива и красива. Среди дворни грузинской, Прасковья, или, как все звали ее, Пашута, была совершенно «отметным сободем». Авдотья, спасшая ее, привязалась к ней, считала приемышем, так как у девушки не было налицо ни отца, ни матери. Они были живы, но находились Бог весть где. Отец был сдан за вину в солдаты и бежал, а жена его или разыскала его и жила с ним, или просто пропадала, в свою очередь...

Оба числились в бегах... Спустя пять-шесть лет, появился в Грузии мальчик, завезенный проезжими и оставленный на селе как бы подкинутым, с запиской на имя нянюшки Авдотьи, в которой говорилось, что ее просят призреть младенца Василия, брата Пашуты.

Факт говорил ясно, что беглые муж и жена живы и здоровы. Аракчеев строжайше приказал разыскивать их, но пойманы они не были, а ребенок был оставлен на селе.

Когда мальчику минуло пять лет, его сестре было уже 16 и девушка выхлопотала, чтобы брата взяли в дом, в число дворни.

Положение самой Пашуты в грузинском доме было исключительное. Няня Авдотья, пользовавшаяся таинственным и непонятным значением у господ, защищала Пашуту от всех, так же, как защищала своего питомца от гнева графа и Настасьи Федоровны.

Пашута была как бы на правах приемной дочери Авдотьи и поэтому первым товарищем игр молодого барчонка Миши. Девочка, будучи гораздо старше барчонка, часто, когда ей было уже лет 12 или 14, заменяла няню и приглядывала за шалуном. Разумеется, этой под няньке доставалось не мало от капризного и избалованного барчука.

Когда Мише минуло 16 лет, а Пашуте было уже за двадцать, юноша переменялся в своем обращении с бывшей своей под нянькой... Он заметил и понял, что эта Пашута очень красивая девушка... Барчонок начал нежно и ласково относиться к Пашуте, родные заметили это и двусмысленно улыбались. Они не находили ничего против того, чтобы Пашута стала первой прихотью Миши, его первой победой и первой живой игрушкой.

Но сердечная вспышка, нечто в роде первой любви, поскольку мог быть на нее способен прихотливый и черствый сердцем барчонок, продолжалась недолго.

Шумский встретил в девушке самый страстный, ожесточенный и крутой отпор в своих намерениях.

Пашута давно, с первых дней своей тяжелой роли под няньки, возненавидела этого барчонка. Страстно, со слезами и отчаянием явилась она просить Авдотью спасти ее от ухода молодого барина. Авдотья, казалось, только того и ждала, обрадовалась просьбе своего приемыша и повернула дело очень хитро... Молоденькая девушка из грузинской дворни была взята ходить за бельем и платьем Миши...

Авдотья повела все дело так хитро, что Миша, его родные и все в доме были убеждены, что неожиданная перемена совершилась сама собой. Молодой барин вдруг изменил Пашуте и быстро увлекся другой, которая была гораздо менее привлекательна, чем Пашута, но более уступчива.

Прошло несколько лет. Шумский, приезжая в Грузию из Петербурга, не обращал никакого внимания на Пашуту, вследствие того, что девушка всячески избегала молодого барина и когда случайно сталкивалась с ним, то вела себя отчасти сдержанно, а в иные минуты и прямо неприязненно. Она даже довольно ловко сумела заставить молодого барина себя не влюбить, так как ухитрялась подчас ловко уколоть его самолюбие, чем-либо рассердить и раздражить против себя.

Когда уже двадцатилетний Шумский наиболее занимался собой, франтил и обращал тщательное внимание на свою внешность, Пашута постоянно, будто нечаянно проговаривалась, что барин удивительно умный и ловкий молодец... «Но уж дурен-то – как смертный грех!»

Это было, конечно, неправдой, Пашута умышленно лгала, но клялась, что это ее искреннее личное мнение.

– Да ты дура! – говорил Шумский, – я в пажеском корпусе считался самым красивым из всех. Уж скорее за глупого мне прослыть, а уж никак не за дурнорожего.

Но Пашута стояла на своем, просила извинения за искренность и божилась, что скорее можно в черта влюбиться, чем в молодого барина.

И Шумский перестал даже и разговаривать «с дурой Пашуткой», когда видал ее во время своих приездов из столицы и пребывания в Грузии.

Вместе с тем, Шумский отлично видел и знал, что Пашута красивая, умная и бойкая девушка, «бой-девка на все руки», способная на всякое серьезное дело. И вот теперь в Петербурге, обдумывая свой план действий относительно баронессы, Шумский вдруг вспомнил о Пашуте. Ее надо приставить к Еве.

Чем более думал он об этом, тем более убеждался, что Пашута будет драгоценным приобретением и его самым полезным и деятельным союзником.

И Пашута была тотчас отпущена Настасьей Федоровной в столицу по оброку, с приказанием явиться прежде к барину Михаилу Андреевичу, который «может быть» ей и место найдет подходящее.

Совещания Шумского с Пашутой продолжались целых три дня. Пашута явилась в столицу ни жива, ни мертва, снова от той же боязни попасть насильственно в наложницы к прихотнику, молодому барину. Когда она узнала, что Шумский вызвал ее для помощи в мудренном деле – она ожила, вздохнула свободнее и обещала все!.. Обещала себя не жалеть, а услужить барину.

В награду Пашута должна была по ходатайству Шумского сделаться вольной и, стало быть, при своем красивом лице и шустрости могла выйти замуж в столице, по крайней мере, за купца или богатого мещанина.

Таким образом, Пашута очутилась при баронессе, знавшей, что девушка крепостная холопка графа Аракчеева и из грузинской дворянки. Но это не могло возбудить подозрений Евы. Что же общего между Аракчевым и г. Андреевым. Даже брат Пашуты Васька-Копчик, изредка бывая в гостях у сестры, не скрывал в доме барона, что он в услужении у флигель-адъютанта Шумского.

Сначала брат и сестра ловко и усердно служили барину Михаилу Андреевичу в его замыслах по отношению к молодой баронессе.

Понемногу, незаметно, по особым причинам все изменилось. Но Шумский не подозревал, что союзники его, оба крепостные его отца, мальчишка 18-ти лет и девушка 29-ти относятся к нему неприязненно, и если не противодействуют из страха его мести, то и не помогают. Он был обманут ими как малый ребенок, и только теперь наступило время, в которое Пашуте, а отчасти и Ваське, приходилось снять с себя личины и, конечно пострадать.

За последнее время Шумский стал догадываться, что Пашута не повинуется ему, что она привязалась всем сердцем к своей молодой барышне, потому что сама баронесса полюбила Пашуту серьезно. Все искусно подстроенное Шумским не приводило ни к чему.

Однажды он вызвал к себе строптивую девушку, послав за ней Копчика, но беседа их кончилась тем, что Шумский едва не бросился на Пашуту с чубуком в руках.

Девушка от страха побоев обещала впредь повиноваться во всем, но затем, вызванная вновь через брата, не явилась вовсе. Через дня три Шумский получил от матери письмо, а с

ним вместе и другое от барона к графу Аракчееву с просьбой продать ему крепостную девушку Прасковью.

Настасья Федоровна писала, что граф и отвечать барону не считает нужным.

Шумский был вне себя от удивления и гнева. И тут уже пришло ему на ум немедленно вызвать из Грузина себе на помощь няню Авдотью, имевшую большое влияние на свою как бы приемную дочь.

XI

Когда Шумский вернулся от Нейдшильда, не видав Евы и зная, что Пашута притворяется больной, он весь день волновался и повторял одну и ту же фразу: – А если девчонка меня выдаст, назовет баронессе. Что тогда делать? Тогда все пропало.

На заявленное Авдотьей желание повидать барина, чтобы узнать, «что ей делать прикажут», молодой человек только рассердился. Наутро Шумский, конечно, был сперва в доме барона и на вопрос его об Пашуте, Антип опять объяснил, ухмыляясь, что она больна.

– Чем больна-то? – спросил Шумский.

– Ейная хворость – пёсья!

– Что?! – удивился и невольно улыбнулся Шумский, хотя на сердце было далеко не весело.

– Пёсья болезнь такая есть. Сами знаете. Когда собаку какую господа в холе содержат да балуют, то она с жиру бесится. Вот и наша Пашутка от барышнинных ласков чуметь начала и беситься.

– Да что же она делает? Лечится? Лежит?

– Ни! Зачем! Она на ногах... Она плачет все только.

– Плачет?!

– Да. С придурью! Ходит по дому с красным раздутым рылом... Бесится – одно слово!.. С чего ей надрываться?.. Ест до отвалу. Одета с барышнина плеча, все платья новенькие ей идут в награжденье. Ездит с барышней по магазеем и по гостям, якобы гобернанка и воеет кажинный день...

– Как воеет?

– Ну, надывается плачет. Сказываю вам, увидите, не узнаете ее. Все ейное рыло разнесло от плаканья, как если бы обморозилась. С жиру бесится! Не ныне, завтра скакать начнет, опустя хвост, и нас всех перекусает! – уже острил, глупо ухмыляясь, Антип.

– Нельзя ли мне ее повидать, если она на ногах, а не в постели.

– Нельзя! – решительно заявил Антип.

– Отчего? – удивился Шумский.

– Не пойдет. Ей вчера я сказывал, что вам было желательно ее повидать. А она мне в ответ брякнула: «Чего мне с этим камадеянтом говорить. Меж нас никаких таких делов нет».

– Комедиантом? – повторил Шумский себе самому, но невольно вслух произнес это слово.

– Камадеянт. Так и сказала. А ввечеру еще обозвала ряженым волком. Вас же все... Это стало быть выходит, что вы господин такой обходительный и ласковый хоть бы с нами, холопами, а на поверку вишь... Злобственный, что ли? Это когда волк овечью шкуру надевает, чтобы в стадо пролезть и задрать по суседушку овечку какую...

– Это все Пашута вам так разъяснила?

– Да. Все она... Мы хохотали до слез от этих ее глупостей, а она бесилась и грозилась. Увидите, говорит, что будет вскорости. Мало смеху будет.

И Шумский, еще более смущенный, вышел из дома барона.

Время терять было нельзя.

С каждым днем Пашута могла выдать его с головой и дверь дома Нейдшильда будет заперта для г. Андреева.

Шумский невольно дивился дерзости и смелости девушки, вступавшей с ним почти в открытую борьбу. Только одним предположеньем мог Шумский объяснить себе это поведение крепостной девки его отца. Она, очевидно, надеется в скором времени быть выкупленной

бароном у Аракчеева. А между тем она должна знать от барышни, что ответа из Грузина на письмо барона нет и не предвидится.

«Ум за разум зайдет! – думал Шумский и прибавлял гневно. – Нет! Каково я попался! Хорошу я себе помощницу выискал. Дурак эдакий. Надо было подумать, надо было помнить, что она еще прежде была с норовом. Когда она мне, лет семь тому, приглянулась было, то как она себя со мной вела. Чистая барышня-дворянка. Королевна-Недотрога!»

Прежде всего Шумский позвал к себе Авдотью и встретил словами:

– Слушан, Дотюшка, в оба, мотай на ус, что я тебе буду говорить. Приходит мне плохо, хоть утопиться или застрелиться. И все от твоей поганой Пашутки! Ты меня выходила, говоришь, любишь, ну и помоги. Просто прямо скажу: спаси меня! Я за это тебя озолочу... Да тебе не то надо... Знаю. Ну, буду тебя обожать, боготворить. Оставлю тебя жить здесь со мной и быть у меня хозяйкой, домом командовать. Все, что хочешь. Что ни придумай, на все я буду согласен. Только помоги.

Шумский проговорил все это с таким жаром и неподдельным отчаяньем в голосе, что Авдотья оторопела, сердце в ней забилося сильнее и она слегка прослезилась.

– На десять смертей пойду я за тебя! – выговорила нянька резко, почти выкрикнула, с легкой хрипотой в горле от волнения и подступивших слез.

Шумский усадил няню, сел против нее и начал самое подробное изложение своей беды. Он рассказал знакомство свое с Нейдшильдами под чужим именем, свое сближение с баронессой и свою страсть... Затем, объяснив с какой целью он выписал Пашуту и определил к баронессе, он рассказал няне, как девушка, по неизвестным причинам, стала ему противодействовать.

Разумеется, сам Шумский понимал хорошо мотивы, руководившие Пашутой. Он догадывался, что девушка слишком привязалась к Еве, чтобы быть ее предательницей, да еще человеку, которого не любила с детства.

– Что же нужно-то тебе, соколик. В чем не слухается Пашутка? – спросила Авдотья.

– Ну, слушай... Это самое главное... Что я на сих днях потребую от поганой девчонки – тебе и знать не нужно. Было бы только тебе известно, что это есть мое желание, и что Пашутка должна сделать все, как я ей прикажу. Без всяких своих дурацких рассуждений – она должна слепо повиноваться.

– Вестимо должна... Крепостная она, а ты наш барин, графский сынок.

– Ну, вот что ты сделаешь, Дотюшка. Слушай.

И Шумский стал объяснять няне заискивающим и ласковым голосом, что так как девушка притворноказывается больной, и он сам ее видеть не может, то Авдотья должна отправиться к ней в гости и с ней переговорить.

– Ты должна ей объяснить, что если она на сих днях не исполнит того, что я потребую, то я ее немедленно возьму от баронессы. Не пойдет охотой, я ее от имени графа вытребую через полицию, как крепостную. Затем, конечно, отправлю обратно в Грузино, а уж там она пойдет прямо на скотный двор, где ее маменька прикажет пороть розгами, сколько вздумается главному скотнику Еремею.

Няня вздохнула и потупилась...

– Что? Иль тебе ее жаль... А? – вскрикнул Шумский. – Ее жаль! А меня не жаль!

– Нет, родной мой... Не будет мне ее жаль, если она себя противничаньем твоей господской воле себя так поставит... Нет, не то... А боюсь я... Боюсь.

– Чего?

– Боюсь. Я ее знаю. Пашуту страхом взять нельзя. Ведь я ее пяти годков приняла и около меня она как дочь выросла. С ней пужаньем ничего не поделаешь. Ее только добром взять можно. И добром всяк ее совсем возьмет. Вот ты сказываешь, это барышня самая с ней сердечна через меру. Ну, вот Пашута за нее горой и стоит теперь. И супротив тебя пошла. А

страхом... Ни-и!.. Ничто на нее эдакое не действует. Хоть ножом ей грозися. Смертью грози! Только голову задерет и скажет: – Семь смертей не бывать, а одной не миновать! Ты знаешь ли, соколик, что когда я ее из воды-то вытащила, почему она в эту воду попала. Топилась! Да, родной, топилась! Пяти-то годков от роду. Ее высек кой-то середь слободы, при всем народе... Уж и не помню кто... Она от него да прямо в воду. Пяти годов. Так что ж теперь-то от нее ждать.

– Как же быть-то, Дотюшка? – растерянно проговорил Шумский. – Чем же ее взять?

Няня задумалась, не отвечала, а лицо ее стало сумрачно и глаза заблестели ярче. Казалось, она думу думает настолько важную, что душевная тревога тотчас отразилась на лице. Шумский невольно удивился, поглядев пристальнее в лицо своей бывшей мамки.

– Я Пашуту возьму... Токмо ты оставь меня самою, по моему глупому разуму, орудовать. Как мне самой Бог на душу положит. А пужаньем... Где же?..

– Сделай милость! Как знаешь, как хочешь. Только помоги. Ты пойми, что мне смерть чистая приходит. Я извелся. Либо захвораю от боли сердечной и помру, либо просто пулю в башку себе пушу.

– Ох, что ты...

– Верно тебе, Дотюшка, сказываю...

– Полно. Полно... Все будет по-твоему. Есть у меня на Пашуту одно только слово. Страшное слово! Заветное слово! Думала я во веки его не сказывать. Ну, а вот... Будто и приходится. И если я скажу его Пашуте, то она твой слуга верный будет. Все противности бросит...

– Спасибо тебе, дорогая...

Шумский встал, обнял Авдотью, и поцеловал вскользь, почти на воздух, приложив к ее лицу не губы, а свою щеку. Няня покраснела от избытка счастья.

– Дай ты мне только с духом собраться и с мыслями совладать. Не знаю, говорить ли мне... Страшно! Поразмыслить надо мне. Говорить ли!

– Что ты, Бог с тобой, вестимо говорить.

– Ох, нет... Ты в этом не судья... Дай, говорю, с духом собраться. Пойду я вот в здешние святые места, в Укремль. А как я пожалуюсь святым угодникам и из Укремля приду... тогда я тебе и скажу: говорить ли мне Пашуте мое страшное слово...

– Ну, ладно! – смеясь, отозвался Шумский. – Ступай сейчас в свой вукремль и молися всласть. А там иди к Нейдшильдам. Тебя Копчик проводит. Только видишь ли, Дотюшка, одна беда, в Петербурге нету Кремля и нет никаких угодников. Здесь не полагается. Тут не Москва.

Няня вытаращила глаза.

– Ведь на этом месте, Дотюшка, где Питер стоит, тому сто лет одно болото было. А что в них водится?

– Не пойму я тебя, соколик.

– Да ведь сказывается пословица: было бы болото, а черти будут. Коли Питер эдак-то выстроился, так каких же ты святых угодников тут захотела...

Однако, Авдотья собралась и тотчас же по указанию Васьки отправилась в Невскую Лавру, но его с собой не взяла, говоря, что он ей помешает молиться.

Вернулась няня домой через четыре часа, и Шумский, увидя женщину, невольно изумился, на столько лицо ее было тревожно и выдавало внутреннее волнение. Глаза были заплаканы.

– Что с тобой, Авдотья? – воскликнул он.

– Ничего. Богу молилась.

– Так что ж такая стала... Будто тебя избили. Аль ты Богу-то в страшных грехах каких каялась...

Авдотья вспыхнула, все лицо ее пошло пятнами. а затем тотчас же стало бледнеть, и все сильнее... Наконец, мертво-бледная она зашаталась... Если бы молодой человек не поддержал женщину во-время за локоть и не посадил на стул, она бы по всей вероятности свалилась с ног.

«Верно попал! Сам того не желая, прямо в цель угодил!» – подумал Шумский и прибавил:

– Устала ты, видно. Далеко ходила. Приляг. Отдохни. Иль чаю напейся что ль...

И уйдя к себе в горницу, Шумский думал, ухмыляясь:

– «А видно у моей мамки есть на душе кой-что не простое... Как я ее шарахнул невзначай... И какое же это слово «страшное», как она называет, может она сказать Пашутке. Какая-нибудь тайна между ними двумя. Вернее такая тайна, которой Пашутка еще не знает и теперь, узнавши, изменит свое поведение. Увидим, увидим.»

К удивлению Шуйского, Авдотья через час отказалась наотрез идти к Нейдшильдам и умоляла своего питомца дать ей отсрочку.

– Ну, хоть денька три... Ради своего же счастья обожди, соколик.

– Да отчего? Помилуй!

– Не собралась я еще с духом. Ради Господа не неволь. Хуже будет. Страшное это дело. Шумский махнул рукой и согласился поневоле...

XII

Между тем, юная баронесса, очевидно, избегала встречи с своим портретистом и не давала сеансов.

Три дня еще напрасно являлся Шумский к Нейдшильдам.

Барон был очень любезен с ним, сажал и задерживал болтовней. Он, по-видимому, был особенно в духе от предстоящего путешествия за границу, в Веймар, на поклон к великому старцу Вольфгангу Гете.

В первый день барон задержал Андреева подробным описанием дома Гете в Веймаре, его рабочего кабинета, крошечной спальни с одним окошком, где едва помещались кровать и одно кресло...

В другой раз барон два часа продержал Шумского, развивая один свой новый проект водоснабжения домов водой.

По проекту барона следовало устраивать не покатые, а плоские крыши с стенками, наподобие резервуаров, а посередине ставить громадную печь. Весь нанесенный зимой снег, долженствовало растапливать и чистая вода по трубочкам текла бы во все комнаты жильцов.

Мысль эту лелеял барон тогда, когда о водопроводах в городах Европы не было и помину. Проект его крыш и печей канул в Лету, а мысль была все-таки не праздная и, в ином более разумном виде, стала через полстолетия действительностью.

Шумский на этот раз слушал барона терпеливо, задумчиво, почти грустно. Он называл красноречивые разглагольствования финляндца – «шарманкой» и обыкновенно избегал их, прерывал.

– Не правда ли удобно? – восклицал барон. – Вместо того, чтобы возить воду в бочках, таскать в ведрах, а снег сгребать с крыш и сваливать во дворах...

– Да-с, – отозвался Шумский угрюмо. – Ну-с, а летом как же? Все-таки бочками возить воду, по-старому.

– Летом?! Да-а?.. – протянул барон. – Летом! C'est une idee!¹⁵ Я об этом не... Да, летом уж придется по-старому.

Наконец, на четвертый день Шумский застал барона собирающимся ехать во дворец в парадном платье с сияющим шитьем на мундире и с не менее сияющим лицом.

Барон при виде вошедшего г. Андреева едва заметно дернул плечом и отвернулся. Фигура его и жест как бы говорили...

«Ты все свое... Знай – ходишь!.. А тут вон что? Пропасть между нашим обоюдным общественным положением сегодня еще шире разверзлась. Ты приплелся за работой, а я вон что... Во дворец еду».

Шумский знал, что Нейдшильд бывает крайне редко на приемах во дворце, раза два в год. Иначе, ему самому в качестве флигель-адъютанта было бы невозможно появляться на высочайших выходах, рискуя встретиться лицом к лицу с бароном.

Глядя теперь на Нейдшильда полного чувством собственного величия, Шумский невольно улыбался...

– Ничего! Pardon!¹⁶ Сегодня не до вас. До свидания. A demain, mon bon!¹⁷... – сказал, наконец, барон.

Шумский вышел в столовую и уже собирался уходить, когда к нему навстречу появился из гостиной Антип и доложил:

¹⁵ Это идея (фр.).

¹⁶ Извините (фр.).

¹⁷ До завтра, мой дорогой... (фр.).

– Баронесса просят пожаловать...

Сердце стукнуло в нем невольно от неожиданности. За ночь принятое решение пришло на ум.

А за эту последнюю ночь Шумский решился на объяснение с баронессой, на произнесение рокового слова любви.

– Хватит ли храбрости? – спросил он сам себя, входя в гостиную.

А между тем, надо было пользоваться случаем, возможностью спокойно объясниться. Барон, уже уезжающий, не мог помешать неожиданным приходом в гостиную. Люди во время его отсутствия всегда исчезали, дом пустел и в нем воцарялась мертвая тишина.

Ева встретила с молодым человеком как всегда... безучастно любезно. Она вышла из своей комнаты, плавно и легко скользя по паркету, стройная, красивая, спокойная и медленно протянула ему свою маленькую, белую, как снег, руку с сеткой синих жилок и с ярко розовой ладонью... При этом она улыбнулась ласково, глянула лучистыми глазами прямо в глаза его...

Шумский решился в один миг на дерзость... нагнулся и поцеловал поданную ручку.

Когда он поднял голову и взглянул на девушку, чтобы увидеть впечатление им произведенное, то встретил то же выражение благосклонной ласковости, но несколько более холодное.

– Не делайте никогда этого, г. Андреев, – вымолвила Ева. – Это не следует.

– Простите... Невольно... Я сам не знаю, как случилось это, – прошептал Шумский с такой скромностью, с таким искренним стыдом раскаянья, что сам внутренне подивился своему искусству владеть голосом и лицом.

– До сих пор никто еще не целовал моей руки, с тех пор как я на свете! – вымолвила Ева, слегка оживясь. – И нахожу даже, что это странный обычай – касаться губами руки... Неумный и неприятный. Pardon... Я сейчас возвращусь.

И она тихо вышла из комнаты.

– Руки мыть! – чуть не вслух воскликнул Шумский, стоя среди комнаты, как пораженный громом... – Ведь руки мыть! – повторил он и чувствовал, что лицо его вспыхнуло от досады и даже от другого, более сильного и глубокого чувства. Он был оскорблен... Все его мечтанья последних дней, надежды и ожидания... все разлетелось в прах.

– Я ей противен! – шептал он. – Я ей гадок... Что ж это... Что ж тут делать? – думал и бормотал он, совершенно потерявшись.

Вероятно, лицо Шумского сильно изменилось, потому что баронесса, выйдя снова в гостиную, участливо глянула на него и, садясь на свое обычное место у окна, заговорила ласковее.

– Сегодня вы что будете делать? Вы хотели брови исправить. Или вернее сказать: одну бровь...

– Извините баронесса, – с волнением выговорил Шумский, становясь перед мольбертом. – Я попрошу вас простить мне глупый вопрос и ответить прямо и откровенно. Вы изволили сейчас руки мыть?..

Ева слегка потупилась, виновато улыбаясь, и глаза ее наполовину закрылись длинными ресницами. Она ответила так тихо, что Шумский не услышал, а догадался, что она говорит роковое: «да».

– Стало быть я вам противен...

– Нет! – громко и несколько удивляясь, отозвалась она.

– Вам было гадко прикосновение моих губ к вашей руке.

– Не приятно... Я почти в первый раз в жизни, говорю вам, испытала это... И мне это не понравилось. Я очень брезглива. Я никогда никому не позволяю этого... Если бы я знала, то я предупредила бы вас...

Ева говорила так детски-наивно и просто, таким невинным голосом, что чувство досады и обиды поневоле тотчас улеглось в молодом человеке. Ему стало даже смешно. Он улыбнулся.

– Не ожидал я, что сегодня будет между нами такой... разговор, – вымолвил он, запнувшись.

– Такой глупый разговор, хотите вы сказать.

– Да.

– Правда. Но вы сами виноваты, г. Андреев. Надо знать людей, с которыми имеешь дело. Вы меня совсем не знаете.

– Мало... Мало знаю. Но, Боже мой, как дорого бы я дал, чтобы знать вас ближе, знать хорошо!.. – воскликнул Шумский с неподдельной страстью. – Какая пропасть между нами... Вы смотрите на меня с высоты вашей аристократической гордости, надменности... Я для вас не человек, а червяк... Хуже! Какой-то гад...

– Неправда, – тихо отозвалась Ева.

– А почему? – не слушая, продолжал Шумский. – Будь я богатый и знатный человек – вы бы отнеслись иначе. Если бы я сказал вам, что я вас безумно полюбил, вы бы не оскорбились, быть может, даже ответили бы взаимностью...

– Никогда! – спокойно, но твердо отозвалась Ева.

– Никогда?! Если б я был знатен, богат, блистал в вашем обществе, был бы гвардейцем, флигель-адъютантом, даже хоть любимцем государя...

– Никогда!.. – повторила Ева, улыбаясь.

– Потому что меня, каков я есть, вам нельзя полюбить?! – почти с отчаянием произнес Шумский.

– Нет. Вас можно!.. – Ева запнулась... – Вы можете легко понравиться...

– Но не вам?

– Нет, не мне... потому что... Бросим этот разговор.

– Потому что вы любите!.. Вы любите другого? Скажите...

Ева молчала.

– Скажите. Умоляю вас.

– Я никого не люблю. Я не могу любить. Не умею... Не знаю, что это за чувство... Но повторяю, прекратите этот разговор.

Шумский глубоко вздохнул, но ему стало легче. Слишком правдиво звучал голос Евы, для того чтобы сомневаться в искренности ее заявления.

Наступило молчанье и длилось долго. Баронесса сидела, глубоко задумавшись. Шумский сел тоже и повидимому усердно занялся работой, но чувствуя, что руки его дрожат, что он только испортит портрет – оставил лицо и принялся машинально рисовать платье и кресла.

Через полчаса времени, проведенного в полном молчании, Шумский первый заговорил, но тихо и отчасти грустно.

– Простите меня, если я сегодня оскорбил вашу дворянскую и в особенности финляндскую гордость.

Ева улыбнулась добродушно.

– Финляндия тут ни при чем... Я не хочу, чтобы вы мои личные недостатки делали недостатками моей милой родины. Ну, и о гордости дворянской тут не может быть речи... Ведь вы тоже дворянин.

– Да-с... Но ведь, однако, вы оскорбились... Вы меня очевидно простили по доброте сердца. Но все-таки вы были обижены. Оттого я вас вижу сегодня такой молчаливой и задумчивой, какой никогда не видал.

– Вы ошиблись... Какой вы странный, однако! Вы, стало быть, убеждены, что я все время думала об вас, об вашем поступке.

– Конечно.

– И ошиблись совершенно.

– Не думаю. Даже уверен, что прав.

– Вот она – гордость или самолюбие, г. Андреев. Я давно забыла, что вы почему-то поцеловали сегодня у меня руку. Ей-Богу, забыла и теперь опять вы напомнили.

– Почему же вы так молчаливы...

– Я думала об одной своей беде. Об неприятности, которая для меня настоящая беда. Моя любимица – Пашута – принадлежит графу Аракчееву, человеку злему... Мне хотелось выкупить Пашуту! Барон, отец мой, писал графу, но до сих пор нет никакого ответа. И, стало быть, не будет. Я не знаю, что делать... Я об этом целые дни думаю. Иногда ночью во сне брежу этим. И теперь тоже об этом задумалась.

Шумский вздохнул и ничего не ответил.

Наступило снова долгое молчание...

Шумский кончил часть платья и, сложив все карандаши в коробку, выговорил, вдруг решаясь на роковой для себя вопрос.

– Г. фон Энзе ваш родственник, баронесса? – И он пристально и пытливо глянул на девушку.

– Да, – просто отозвалась Ева.

– И, кажется, вы его очень близко знаете...

– Да.

– Я хочу сказать, что барон очень любит фон Энзе, а вы его любите...

– Что? Я вас не понимаю! – глухо отозвалась Ева.

– Нет, баронесса вы меня поняли! – произнес Шумский резко и встал с места...

– Нет, г. Андреев. Я вас не понимаю. Если бы я думала, что я вас поняла, то сочла бы нужным покинуть комнату и, прекратив сеансы немедленно, оставить портрет не оконченным. Я вас не поняла! Я слишком хорошего об вас мнения, чтобы вашу обмолвку принять за умышленную дерзость...

– Ради Бога. Правду!.. – с полным отчаяньем страстно воскликнул Шумский, приближаясь к сидящей Еве и готовый упасть перед ней на колени. – Правду мне нужно. Вы все поняли, понимаете... Я даю слово молчать целый век, никогда ни единым словом не обмолвиться. Но теперь, сейчас, отвечайте мне правду. Не играйте словами, не обижайтесь... Скажите мне одно слово: фон Энзе ваш жених?

– Никогда. Бог с вами...

– Но вы его... Простите! Умоляю вас! Вы его любите?

– Г. Андреев. Я от вас не ждала...

– И он без ума от вас! Он вас любит!

Ева опустила глаза и лицо ее стало сумрачно.

– Ведь это правда? Одно слово...

Ева молчала.

– Вы не хотите отвечать?

– Довольно, г. Андреев... Еще одно слово и... мой портрет останется неоконченным.

– Но я не могу так оставаться в неизвестности! – вскрикнул Шумский. – Я хочу знать! Слышите ли вы! Я хочу знать. Жених ли он ваш, избранный вам бароном.

Ева поднялась с места и двинулась в свою комнату. Шумский бросился к ней и уже хотел взять за руку, чтобы остановить.

– Одно слово... Бога ради! Из жалости, наконец. Одно слово! Но правду! правду!

Голос молодого человека, очевидно сразу, неотразимо подействовал на баронессу, и она отозвалась шепотом.

– Фон Энзе теперь не жених...

– Вы его любите?..

– Не знаю. Может быть. Я не умею, не могу любить. Я уже это сказала раз. Но за то, теперь прибавлю, что портрет... Сеансов больше не будет!.. Прощайте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.